

ЕВГЕНИЙ ГУЩИН



ПО СХОДНОЙ  
ЦЕНЕ





ИДИН  
НОИ  
ЕНЕ  
А НОИИ

ИДИН  
НОИ  
ЕНЕ  
А НОИИ



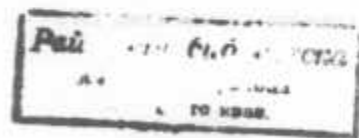
ЕВГЕНИЙ ГУЩИН  
ПО СХОДНОЙ  
ЦЕНЕ  
ПО СХОДНОЙ  
ЦЕНЕ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ



81006

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1979



# ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

ПОВЕСТЬ



Г 98 Гуцин Е. Г.  
По-сходной цене. Повесть, рассказы. Барнаул,  
Алт. кн. изд., 1979.

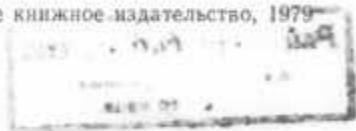
272 с.

Герои книги Е. Гуцина — наши современники: рабочие, колхозники. В центре внимания писателя — человек со всеми его сильными и слабыми сторонами, его мечты, отношение к своему делу, к другим людям.

Г  $\frac{70302-017}{M138(03)-79}$  23-78

Р2

© Алтайское книжное издательство, 1979



ПО СХОДНОМ  
ЦЕНЕ

1923/24



В пятницу, после обеденного перерыва, к бригадиру механического участка Семену Табакаеву, высокому, пожилому мужику с вислым носом и стеснительными глазами, подошел токарь Анатолий Долгов и попросил отпустить его с работы пораньше.

Токарю Долгову за сорок, но столько ему сроду не дашь. Лицо у него на удивление молоджавое, туго обтянутое бурой, загорелой кожей — совсем еще свежее лицо. Такие лица бывают у людей непьющих и некурящих. Ни морщин на высоком, с залысинами лбу, ни складок, ни мешков под черными глазами. В иные глаза посмотришь — и всего человека видать, сразу знаешь, кто он и как себя с ним вести. Анатолию же, сколько в глаза ни смотри, — ничего не вымотришь: затенены они у него занавесочками. Ничего не увидишь в смоляной густоте зрачков, кроме своего отражения. Телом он плотен, но не тяжел, в его чуть скованных, скуповатых движениях дремлет затаенная сила, которой развернуться пока не пришел час, но уж если придет, то неизвестно еще, хорошо это будет для других или плохо. Кажется, именно для того часа и бережет Анатолий тело и душу, не хочет их в чем-то истратить. Случись на участке какой спор среди мужиков, никогда не встрянет, пока его не попросят. Рассуждать умеет умно, но лишнего от него не услышишь. Он и говорит

медленно, тягуче. Скажет и помолчит, не сразу выпустит из себя следующее слово, наперед хорошенько обкатает его в себе со всех сторон. И даже в одежде у Анатолия обдуманый порядок. Синяя спеловочная куртка чиста, не замаслена, как у других станочников, и ботинки у него из толстой, не знающей износу кожи, с сыромятными ремешками вместо шнурков. Далеко можно уйти в таких ботинках. Посмотрит на него свежий посторонний человек и подумает: на долгую жизнь нацелился мужик, словно при его возрасте он еще только-только начинает ее, — и самое главное у него впереди. Но это для свежего глаза. А на участке он примелькался: человек как человек, и токарь неплохой, вот только подойти к нему без нужды, просто так — шуткой перекинуться или поговорить о пустяках — не подойдешь, что-то остановит.

Семен знал, что у Долгова где-то в деревне дача. Иногда по пятницам он отирашивался то крышу покрасить, то забор подремонтировать, и Семен обычно не отказывал. Почему не отпустить человека на часок-другой, если он самостоятельный, надежный и бригадира не подведет? С утра Анатолий, конечно же, поднажал, благо на перекуры время терять не надо, и с заданием справится, можно не проверять, тем более, что норму он всегда дает, а в конце месяца, когда участок лихорадит, охотно остается сверхурочно. Ничего худого в своем послаблении бригадир не видел. Наоборот, считал: сделаешь добро человеку — оно не затеряется, вернется когда-нибудь сторицею.

Отпустить-то его Семен и на этот раз отпустил, да только вдруг неожиданно для самого себя и ляпнул:

— Хоть бы пригласил на дачу-то...

— Так поехали, Семен Иванович. — вырвалось у Долгова без всякого раздумья, будто он давно дожидался этой просьбы и готовый ответ у него был под рукой. —

В чем же дело? Берите супругу, сына — и к нам. Как говорится, всей семьей.

— Да надо будет как-нибудь выбраться, — немного растерялся Семен, морща виноватой улыбкой вислый нос.

Набиваться к Долгову в гости, тем более с семьей, — он и в мыслях такого не держал, и с языка-то слетело шутливо: мол, с тебя причитается. Все так говорят, когда окажут человеку какую-нибудь малую услугу, и говорят не затем, чтоб сорвать, а просто такая словесная игра. Однако Семен тут же и подумал, что в этой игре есть дальняя мысль: мне, мол, от тебя ничего не надо, но ты мою доброту все-таки помни. И ему стало неловко. Да он и не ожидал, что Анатолий уцепится за его слова. Думал: ну, пригласит между прочим, а он так же между прочим и откажется. Игра есть игра... Но, видать, играть-то еще и уметь надо. В голосе Анатолия слышалась не та прохладная вежливость, когда язык говорит одно, а голова думает совсем другое, нет, Анатолий приглашал, кажется, искренне.

Задумался Семен. Легко сказать: бери супругу. Вдруг Ираиде не захочется тащиться на дачу к мало-знакомым людям, и получится неловко: сам напросился, а потом на попятную. Вот и думай теперь, как быть.

— Зачем тянуть? — не отставал Анатолий, обиженно улыбаясь, видя, что бригадир сомневается. — Давайте по-деловому. Завтра утром садитесь в электричку. Остановка — Залесиха. Ехать всего сорок минут. Правда, от станции до деревни еще три километра лесом, но мы вас на машине встретим. Все будет в норме. Не пожалеете, Семен Иванович. У нас там лес, речка. Отдохнете на вольном воздухе. Чего пыль в городе глотать?

Вечером Семен передал этот разговор жене, и та неожиданно загорелась:

— Поехали, раз приглашают. Посмотрим, какие у твоих работяг дачи. Своей нет, так хоть на чужой побываем.

Сын Игорек ехать за город отказался. По субботам он ходил на платные курсы гитаристов, и его неволить не стали: пусть идет туда, где ему интереснее. Да это, пожалуй, и лучше, что отказался. Может, из вежливости всех пригласили, а вы и рады стараться, прикатали всем табором. Сказать так не скажут, а подумают.

Утром собрались с Ираидой — и на электричку.

Анатолий сдержал обещание: ждал Табакаевых на своем «Москвиче» возле станции. Не быстро, то ли затем, чтобы гости могли полюбоваться из окна сосновым лесом, то ли просто берег машину, но доставил до места, где жена его, Галина, остроносая светливая женщина, пригласила в дом к накрытому столу.

Как водится, выпили и закусили, а разомлев, вышли на волю, к березовому лесочку.

На удивление хороша оказалась Залесиха. Из залитого солнцем березняка все усадьбы, спускающиеся к реке, видны как на ладони, хоть план рисуй. Дома сплошь новые, высокие, как у Анатолия, и отделаны затежливо. Ставни, наличники окон, резные карнизы и коньки на крышах раскрашены пестро, у каждого по-своему. Игрушечная пестрота эта была неожиданна и радовала глаз, но Семен, хотя он и не был деревенским человеком, отметил про себя, что дома эти высокие и большие, поставлены не для жизни, а для забавы. Под облицовочными плашками нет теплых срубов или кирпичной кладки — только опилки или пустота. Вот те старые, исконные избы, что соринкой в глазу затесались между пестрых теремов, — неприметны с виду, серы, но как раз в их ничем не украшенных бревенчатых стенах зимой тепло и надежно, как и должно быть в настоящем доме, думал Семен, разглядывая деревню.

По домам старался определить, кто хозяин: городской или деревенский, богат или не очень. Может, и не точно, но казалось, что это ему удается. Зато сады и огороды ничем не отличались друг от друга. Все они лежали в щедрой зелени, и Семену подумалось, что для земли все равны — и деревенские, и городские. Земле не требовались дорогие, не всем доступные материалы. Какая ей разница, кто ты и откуда, главное — приложи старание, и она отзовется на усердие. Мудра она, неподкупна...

Семен удивился своим мыслям. Никогда раньше о земле он не думал, потому что редко видел ее. В городе замусоренная, утоптанная до каменности земля, огороженная чугуными решетками в скверах, казалась ненастоящей. Только здесь, в деревне, земля была вольной и поэтому щедрой. Она убегала от домов вниз к реке и продолжалась за рекой, отчеркнувшей ее, уже совсем вольная. Там начинались заливные луга. Они уходили далеко-далеко и терялись в мягкой сиреневой дымке.

Хорошо было смотреть отсюда, с лесистого взгорка, в ничем не ограниченную даль. В городе, куда ни помотри, взгляд упрется то в стену соседнего здания, то в заводские трубы. Здесь же нигде не ощущалось предела, и от этого в голову приходили мысли широкое, неожиданные для Семена. Душа отдыхала в покое.

Залесиха прежде была бригадой колхоза, центральная усадьба которого и поныне стоит за лесом. Хозяйство было довольно крепкое, пока не протянули тут пригородную ветку. Многие мужики устроились на заводы и каждое утро ездили в город на электричке. Сорок минут не так уж много, иной горожанин до работы дольше добирается. А потом бывшие колхозники получили в городе квартиры и совсем расстались с Залесихой. Живи, родная деревенька, как знаешь. Мы уже не твои!



Захудала бы вскоре Залесиха, да другая судьба была ей уготована. Сейчас уже трудно сказать, кто первым из горожан присмотрел себе здесь место для дачи, но человек этот был прозорливый и большого размаха. Он так рассудил: зачем лепиться на крохотном участке общих дач, где земли дается в обрез, лишь на несколько грядок, а на жилье уже и не остается, приходится довольствоваться будочкой, где с семьей не повернуться? То ли дело в Залесихе! Простор, земли — вволю. Строй какой хочешь терем, сажай что хочешь и сколько хочешь. Широкая натура была у того человека, ничего не скажешь. За ним потянулись сюда и другие. Наезжая в выходные, они приглядывались к избым, приценивались. Бывшие колхозники за избы свои просили немного. Им хотелось поскорее продать недвижимость, чтобы развязаться окончательно с Залесихой. Избы переходили в другие руки, и сразу начиналось строительство. Новые хозяева подвозили шифер, доски, кирпич, даже панели для стандартных домов. Прошло время, и старых изб осталось совсем мало. Дачи-терема вытесняли их. Да и коренных жителей тоже становилось все меньше, оставались тут одни старики да старухи.

В будние дни Залесиха теперь дремала, тихая, безлюдная. Но едва наступали выходные или праздники — и пыль клубилась над дорогой: катили дачники. Стучали топоры, визжали пилы, слышался веселый говор людей, переиначивших вековой устой старой Залесихи на свой лад.

...Анатолий посмотрел на разомлевшего Семена.

— Во как тут у нас, красота какая! — протянул он, счастливо шурясь, и повел рукой вокруг себя, чтобы бригадир все посмотрел, ничего бы не пропустил, и такая горделивая улыбка была на его лице, словно все это благолепие он сам сотворил, никто другой.

Семен морщился в улыбке, ничего не скажешь, хорошо в Залесихе. Недаром со всех сторон стучат топоры, стучат торопливо, будто боятся отстать один от другого. На худом месте люди не стали бы строиться.

— Ой, да что красота, — сказала Галина с досадой и покосилась на мужа. — Разве одной красотой сыт будешь? Возьмем те же овощи. Поди купи на базаре пучок зеленого лука! Я как-то зашла прицениться... И почему вы думаете? — спрашивала она Иранду, а сама косилась на Анатолия, как бы проверяла по мужнину лицу, то ли она говорит. — Тридцать копеек! Укроп — пятнадцать. Это ж подумать только! А огурцы, помидоры... Не те, которые в ларьке, а свеженькие, с грядки... Да что говорить, сами знаете. Не больно-то купишь. Разве так, побаловаться... А тут все свое. И редиска, и лук, и огурчики. Ешь — не хочу. А грибов сколько! Верите, Иранда, осенью в этом березняке опять хоть литовкой коси. Ей-богу, не вру. Вот пусть Анатолий скажет. — И, заметив одобрительный мужнин кивок, продолжала: — В ту осень засушили, всю зиму горя не знали. И варили, и жарили вместо мяса. Мясо-то нынче тоже кусается, так вот с грибами и перезимовали. Да они, грибы-то, еще полезней мяса, от них не полнеют... Нет, мы довольные, что дачу купили. Не знаю, как бы без нее и жили.

Раскрасневшаяся Иранда смотрела на лежащую внизу Залесиху и слушала рассеянно, качая головой в такт словам Галины, показывая, что она все слышит и всему верит, но занята она была чем-то своим. Семен видел: какая-то мысль вызревала у жены, и он даже сообразил какая.

— Живут же люди, — проговорила Иранда со вздохом и обернулась к Галине, глядя на нее с завистью и явно поворачивая разговор в нужную ей сторону.

— А чего? — подхватила та, снова покосившись на мужа. — Покупайте и вы себе дачу. Где-нибудь рядышком с нами. И нам веселее будет. Свои ведь люди, в случае чего помочь друг другу можно. Свои есть свои...

Галина быстро огляделась по сторонам и, понизив голос, будто ее мог услышать кто чужой, горячо зашептала:

— Вон глядите, через забор от нас старуха живет. Усадьба у нее больно хорошая. Тут возле нее многие крутились, да старуха упирается, не продает. У нее купить — это бы да-а...

Семен поглядел туда, куда глазами указывала Галина, и увидел за забором приземистую избушку с вросшими в землю перекосившимися окнами. Крыша избушки была не видна, ее полностью накрыли ветви черемухи, такой огромной и развесистой, что, казалось, не старость, а тяжелые ветви так придавили избушку, вогнав ее в землю.

— Очень уж старая, — с сомнением сказал Семен. — Ее купишь, а она возьмет да завалится.

Галина снисходительно усмехнулась и поглядела на мужа.

— Это неважно, — улыбнулся Анатолий. — Тут у нас как делают... Покупают усадьбу. Глядят, чтобы участок был большой. А избушка что? Ее все равно ломать да новый дом строить. Неужели вы будете жить в такой конуре? Ясно, что не будете. Так чего на нее глядеть? Мы ведь тоже так. Сторговали плохонький домишко. Вроде этого, Петровниного. Отстроили новый дом, а старый снесли. Так что глядите, Семен Иванович, глядите... Галина дело говорит.

— А продаст она усадьбу, эта Петровна? — как бы между прочим поинтересовалась Ираида. — Ведь, говорите, упирается.

— Продаст, продаст, — зашептала Галина, обрадованная поддержкой. — Не сразу, конечно, походить за ней придется, но продаст. Ей ведь за семьдесят, Петровне-то. Разве с ее силами тут управиться? А у нее дочь в городе. Переселить ее туда — и весь разговор. С детшками нянчиться.

— Если вы надумаете, — заговорил Анатолий, глядя по очереди то на Семена, то на Ираиду, — бабу мы уж как-нибудь обработаем. Никуда она не денется.

Ираида повернулась к мужу:

— Ну, хозяин, что скажешь? — подталкивала она Семена не только словами, но и улыбкой, и голосом, в котором теплилась надежда.

Семен замаялся. Слишком уж неожиданно все вышло. Да и денег лишних не было: недавно взяли мебельный гарнитур. Лежали, правда, в шифоньере, под стопой белья, триста рублей, так это жене на шубу. Если Ираида на них рассчитывает, то здесь ведь явно не тремя сотнями пахнет.

— Даже не знаю... — уклонился он от прямого ответа. — От станции все же далековато.

— Гляди-ка, чего он испугался. Пешком бонится ходить, — Ираида посмотрела на Долговых, приглашая их в помощь. — Да хочешь знать, пешком ходить для здоровья полезно.

— Ага, врачи рекомендуют, — поддакнула Галина.

— Это в охотку пройтись ничего, — упрямылся Семен. — Когда солнышко светит и тепло. А тепло-то не круглый год будет. Дожди начнутся, снег, слякоть... Не знаю, — с сомнением качал он головой и морщился. — Надоест. Сама потом скажешь.

— Дело, конечно, твое, — медленно, раздумчиво заговорил Анатолий, — да как бы не прозевать. Народ сюда валом прет. Надумает, да поздно будет. — Он

неожиданно перешел на «ты», и Семен не удивился такому переходу. С рабочими панибратства Семен не любил. Разговаривал он всегда с ними тихо и мягко, никогда не повышая голоса, даже если кто и провинится, и только на «вы». Считал, что бригадира нельзя мешать в одну кучу с рабочими. У бригадира какая ни есть, а власть, которая без уважения — ничто. Вежливое «вы» удерживало и его самого и рабочих на своих местах, не давало перешагнуть разделяющую их грань. Но сейчас была другая, нерабочая обстановка. Анатолий, кроме того, что принимал его у себя в гостях, вроде бы возвысился над ним еще и потому, что уже имел опыт покупки дома. Он мог говорить с гостем не только как с равным, но и снисходительно. Сейчас старше был тот, кто опытнее в подобном деле, и Семен, понимая это, не обиделся, пропустил долговское «ты» мимо ушей. Ждал, что будет дальше.

— Насчет того, что далеко, — продолжал Анатолий. — Так мы можем сюда и вместе ездить. В машине четвертым не тесно. Это мелочь... Большой выигрыш можешь прозевать. Вот давай рассуждать. Я за свою развалюху отдал шестьсот рублей. Так? — Он значительно помолчал, давая Семену возможность осознать сказанное и проследить, куда поведет мысль дальше. — А теперь... — Анатолий посмотрел на свой дом так, словно увидел его впервые, даже легкое удивление обозначилось на лице. Потом посерьезнел, сощурившись, окинул дом уже новым, трезвым, оценивающим взглядом. — Теперь, худо-бедно, а при случае две-то тыщи возьму. Это уже как закон — возьму. Дача-то — она как сберкнижка. И даже лучше. Понемногу подстраиваешь — то веранду, то беседку... В огороде помаленьку ковыряешься, а цена растет.

— И овощи с огорода имешь, и цена растет, — обрадованно поддакнула Галина, уважительно посмотрев

на мужа, а потом уж на всех остальных. Вот, мол, у кого учиться надо, вот кто понимает толк в жизни.

— Я и говорю. Свое подсобное хозяйство. Без него туго. Да и недвижимый капитал — тоже вещь не из последних. С ним как-то надежнее, — подвел итог Анатолий.

Ираида молчала, ждала, что скажет Семен, но тот ничего не говорил, прятал глаза.

— От моего разве чего путного добьешься... — скорбно сказала Ираида. — Ему у нас ничего не надо. Он только сегодняшним днем живет. — Она безнадежно махнула рукой и отвернулась.

Долговы неловко молчали, понимая, что ссора начнется из-за них.

— Ну так что? Может, сходим к ней? К старушке этой? — спросила Ираида, обращаясь к поскучившим Анатолию и Галине, и посмотрела на мужа с таким обещанием, что он догадался: вечером жена выскажет ему все, что постеснялась сказать здесь, на людях.

— А, пошли! — с вызовом засмеялась Галина, подхватила Ираиду под руку, и они, не оглядываясь, зашагали к калитке Петровны.

Семен нервно закурил.

— Чего сомневаешься? — ласково укорил его Анатолий. — Жена твоя — баба умная. Сразу поняла, что к чему. Потом благодарить будешь. Пошли поглядим, что ли?

— Давай — вяло отозвался Семен.

Идя вслед за женщинами, он видел, как Галина, тесно прильнув к его жене, что-то говорила ей. Слов он не мог разобрать, да и не прислушивался. Знал уже, что она могла сказать, и в нем зрело раздражение и к хозяевам, и к Галине, и к себе самому.

Черемуха в соседнем дворе вблизи оказалась прямо таки огромной. Она не только закрывала крышу, но и

образовывала густой, плотный навес над крылечком и над скамейкой подле крыльца. Там, под живым навесом, несмотря на полуденный зной, было сумеречно и прохладно. На морковной грядке перед избушкой сидела на корточках старуха в белом платке и выпалывала сорную траву. На скрип калитки она подняла голову и, увидев идущих к ней людей, тяжело встала, отряхивая подол от приставших комочков земли.

— Живая, Петровна? — окликнула ее Галина. — Чего в такую жару работаешь?

— Кака там жара, — негромко откликнулась старуха, приглядываясь к незнакомым людям. — Меня уж и солнышко не греет.

— Ну все равно. Полежала бы лучше, отдохнула.

— Успею, належусь...

Галина помолчала, оглядела двор.

— А я вот тебе покупателей привела, — новым, веселым голосом заговорила она, поворачивая разговор к делу.

Старуха озадаченно посмотрела на нее.

— Каких покупателей? Я рази тебя просила?

— Так, говорят, продавать надумала, — хитрила та.

— Кто говорит?

— Как «кто»? Люди. Вот я и привела. Вдруг да сторгуется.

— Не знаю. Ты чо-то путаешь.

— Да ничего я не путаю. Люди-то вот они стоят.

— Ну дак пусть стоят. Я никому не сулила.

Семена обдало жаром.

— Пойдем, — шепнул он Ираиде, но Галина стояла близко. Услышала, сделала знак, чтобы не глупили.

— А то поговори с людьми, — настаивала она. — Люди хорошие, не обманут. Чего тебе на старости лет

с огородом мучиться? А дрова на зиму заготавливать, а воду из-под горы таскать? Мыслимо ли дело в твои-то годы? Ухайдакаешься да и сляжешь. Перебиралась бы к дочери в город, а денежки на книжку. Квартира у Зинки благоустроенная, жила бы в свое удовольствие. С детишками бы нянчилась. На всем бы готовом жила, — гнула Галина свое, думая, что Петровна колеблется, а значит, надо не дать ей опомниться, навалить слов побольше, чтобы они перевесили сомнения. — Забот бы не знала...

Старуха, непонятно усмехнувшись, перебила:

— Дак без забот-то, наверно, не бывает. Как же без них жить-то? Я про такую жизнь не слыхала.

— Ну все-таки там легче, — сбилась с тона Галина. — Здесь чего хорошего? Я бы, Петровна, на твоём месте давно бы уж все бросила да уехала.

— Уехала... быстрая какая... Куды я отсюда уеду, когда у меня тут все? — Старуха замолчала, переводя взгляд с одного лица на другое, словно выбирая, кому сказать то, что подступало из души, и Семен почувствовал: ему скажет. Так и есть: она смотрела на него. И не выпуская его глаз, не давая уйти в сторону, шагнула к нему: — Куды ж я поеду-то? Ну... Я ведь тут родилась. Да вот опять же черемуха. Кто за ей будет приглядывать? — в глубоко запавших Петровниных глазах была такая тоска, что Семену стало не по себе. — Ванюшка-то, когда на фронт уходил, вот и притащил из лесу эту черемуху. Маленький был кустик, листочки зеленые... — говорила старуха Семену. — Чего ж ты, говорю, притащил-то ее? Кто же летом пересаживает? А он смеется. Ванюшка-то... «Пускай она, маманя, за место меня останется. Эта черемуха...». Ну, посадили. — Петровна вздохнула. — Землю под ей рыхлила, поливала, обхаживала. Думала, не приживется. А она пошла и пошла в рост. Прямо дивно... Ванюшка-то как в воду

глядел. Вместо себя, говорит, оставляю... Не надо было ему так говорить. Не надо... Вот теперь вместо сынка и обхаживаю дерево. Только руки шибко болеть стали. Прямо спасу нет. — Старуха посмотрела на свои костлявые, бурые, похожие на крученые корни руки и опять вздохнула: — Сяду на скамеечке и плачусь Ванюшке. Про все-е ему рассказываю. Листочки шелестят — он ровно слушает меня, жалеет. Посижу маленько — и опять жить можно. Вот так и живем с ей, с чермухой...

— А ты бы в гости приходила, — не сдавалась Галина. — Разве им жалко? — кивнула на Табакаевых. — Живые ведь люди. Все понимают. Как, Иранда?

— Конечно, конечно, — с готовностью подтвердила Иранда. — Пожалуйста, в любое время. Приходите и сидите сколько хотите. Мы только рады будем, — и оглянулась на мужа. «Чего молчишь, подтверди», — говорил ее взгляд, но Семен стоял безучастно, будто все, что тут происходило, никак его не касалось. Что-то с ним сейчас творилось, и он прислушивался к себе, пытался это понять.

— Изба не течет? — бойко спросила Галина. — Зайти можно? — и подмигнула Иранде.

— Заходите, не заперто, — глухо ответила Петровна, стоя посреди двора и не зная, куда себя деть.

Женщины пошли в избу. Семен было отстал, но Галина бесцеремонно потащила его за рукав, и он покорился.

В избе стояла, как показалось Семену, какая-то музейная чистота и тишина. Аккуратно побеленная русская печь занимала половину горницы. Простой стол, накрытый цветастой клеенкой. Скамья с ведром воды на ней и ковшом. В дальнем углу стояла железная кровать, застеленная лоскутным одеялом. Чем-то давним, полузабытым, родным повеяло от этого вылинявшего

одеяла. Цвет лоскутов угадывался слабо, и так же слабо, бесцветно, словно из тумана, проглянуло из памяти лоскутное же одеяло, которым в детстве его укрывала мать. Он уже не помнил, какого оно было цвета, цвет вылинял в памяти, да и лицо матери стояло перед ним зыбко, как в тумане, он только помнил прикосновение рук матери. В комнате предутренний мрак, холод забирается под лоскутное одеяло. Сквозь сон он чувствует: на край кровати садится мать, слышится слабый ее голос: «Вставай, Сема, пора... Вставай, сынок...» Она будит его на работу, будит голосом тихим и тревожным, а руки ее подтыкают под бока сыну одеяло. Горько, наверное, было матери будить его, малолетку, но такое время было — война. И она каждое утро будила его голосом, а руками, теплыми и ласковыми, убаюкивала...

Лоскутное одеяло, которое он сейчас увидел на старухиной кровати, потянуло из памяти другое время и другие лица. Семен огляделся и в простенке, между кроватью и лавкой, увидел пожелтевшие фотографии в общей деревянной раме, где был собран весь род Петровны. Там были и старики, и старухи, держащие на коленях детей. Потом эти дети, уже повзрослевшие, стояли возле сидящих на стульях стариков. На других снимках можно было узнать мужчин и женщин, сохранивших в себе еще что-то детское. Но стариков рядом уже не было. Только в их детях неуловимо жили родительские черты. В центре рамы вставлен был небольшой любительский снимок стриженного солдата в красноармейской гимнастерке. Простое русское лицо, в котором явно угадывалось сходство с Петровной...

«Ванюшка», — понял он, не в силах оторвать взгляда от этого лица. Странное, тягостное чувство испытывал Семен, глядя на давно ушедших из жизни людей, которые, казалось, смотрели со стен строго и недоволь-

но... И это, наверное, почувствовали все, потому что сразу же потихоньку пошли вон.

Старуха по-прежнему стояла посреди двора, глядя на реку, в никому не ведомую даль.

— Ну так как, Петровна? — окликнула ее Галина. — Сговоримся мы с тобой, нет? Люди надежные. Они бы и перевезли тебя к дочери. Честь честью. Разве мыслимо в таком возрасте одной? Не дай бог, захвораешь — воды подать некому.

— Куда уж мне переезжать, — сказала старуха, не глядя на нее. — Оборву корешки — нигде уж не приживусь. Вы меня не судите. Мне недолго осталось-то...

— Кто тебя судит, бог с тобой. Ты вот что, Петровна... Людей хоть обнадежь. В случае, если надумаешь продавать, так только им. Чтоб люди надеялись, — выторговывала Галина хоть краешек надежды.

— Пускай надеются. Разве я перечу?

Так ничего и не добившись от старухи, вернулся на дачу Долговых.

Настроение у всех от бесплодного разговора подпортилось, и Галина не захотела снова устраивать застолье в доме. Она связывала неудачу с местом. Теперь в доме об этом даже стены напоминали, и она вынесла стол во двор, под навес, чтобы на новом месте, не испорченном ничем, и разговор мог продолжаться по-новому, и в голову могло прийти то, что в доме уже не придет.

Выпили, закусили, и снова всем стало хорошо.

— Ничего, — утешила гостей воспрянувшая духом Галина. — Главное, носы не вешайте. Провернем мы это дело. Вы уж мне поверьте. — Она доверительно склонилась к Ираиде. — Тут вот что надо. К дочери ее сходить. К Зинке. С ней поговорить. Я слыхала, она давно зовет мать. Запиши-ка ее адрес. Она недалеко от вас живет. И деньги помаленьку готовь.

— А сколько она может запросить? — поинтересовалась Ираида, записывая на клочке бумаги адрес Петровниной дочери, и даже карандаш придержала, ждала.

— Рублей семьсот, — сказал Анатолий и, подумав, добавил: — Но тысьонку на всякий случай иметь надо. Вдруг бабка заломит. Не слепая... Понимает, что на ее усадьбу многие зарятся.

— Пусть зарятся, — заговорщицки подмигивала Галина, уже немного захмелев. — Если я сказала, что наша возьмет, то, значит, возьмет. Пусть Анатолий скажет... — И дергала мужа за рукав. — Скажи им, Толя. А то они может, не верят...

Анатолий уже и рот раскрыл, чтобы поддерживать жену, но ничего не сказал. Он прислушался и встревоженно повернулся в сторону ворот, которые вдруг распахнулись во всю ширь, и в проеме, как в раме, возник мужик.

Мужик, качаясь в воротах, обзирал раскинувшийся перед ним двор. Застолье он обнаружил не сразу, но вот его ищущий взгляд затвердел: нашел... Мужика будто подтолкнули сзади, и, бережно переставляя ноги, он двинулся напрямик к столу.

— Что-то рано он по дворам пошел, — раздраженно проворчала Галина. — Он ведь под вечер собирает свои налоги, а тут не дотерпел. В обед приперся.

— Ладно, Галя, ладно, — тихо проговорил Анатолий, тоном соглашаясь с женой. — Куда от него денешься. — Он посмотрел на гостей, как бы извиняясь перед ними, улыбнулся идущему к ним мужику и заранее встал.

— Здоровы были, хозяева, — сипловато поздоровался мужик безо всякой ответной улыбки, будто оказывал честь своим приходом.

— Здравствуй, Кузьма. Здравствуй, дорогой. —

Анатолий поздоровался с ним за руку, после чего представил гостям: — Это Кузьма. Здешний житель, — и поднес наполненный Галиной стакан.

Лицо у Кузьмы было старое и мятое, в глубоких складках, хотя был он, по-видимому, еще не старый. В отличие от Анатолия, ему на лицо кожи было отпущено больше, чем надо, и когда они стояли рядом, это особенно сильно бросалось в глаза. Пиджак на Кузьме тоже был старый и мятый, но это его, как видно, несколько не смущало. В этом пиджаке, приспособленном на все случаи жизни, он, наверное, и работал и гулял, и поэтому не стыдился его, как не стыдился спецовки.

Кузьма вытер руки о пиджак и взял стакан негнущимися пальцами, держа осторожно, бережно.

— Ну, будем! — сказал он деловито и стоя выпил. Только после этого сел на пододвинутый Анатолием стул и потянулся к закуске, но потянулся как-то равнодушно, будто выполняя не слишком важное, но необходимое дело.

— Это кто у тебя? Родня, чо ли? — спросил он Анатолия, кивая на гостей, которые тоже приглядывались к новому человеку и силились понять, чем же знаменит этот местный житель и отчего Долгов, хоть и мучается, а все же принимает его и даже вроде старается ему угодить.

— Это хорошие знакомые, — ответил Долгов.

— Тоже с завода?

— С завода.

— У Петровны-то вы чо были? Покупать примерялись?

— Примерялись, — скупо отозвался Анатолий. Пускать в разговор Кузьму ему явно не хотелось.

— Ну, и как она? — нажимал Кузьма.

— Никак. Не желает.

— Никуда не денется, — знающе проговорил Кузьма. — Против вас разве устоит?

— А это уж я не знаю, устоит или нет, — с заметным раздражением отрезал Анатолий и, чтобы сбить Кузьму с ненужного разговора, демонстративно наполнил его стакан и пододвинул к самому носу. Ты, дескать, пей и закусывай, а куда не просят — не лезь, без тебя разберемся.

Но тот пить больше не стал. Отломил крохотный кусочек сыру, остаток положил обратно. Вылез из-за стола, вытирая руки о лоснящийся на боках пиджак.

— Спасибо, хозяйева, спасибо... Идти надо, — засипел он деловито. — Уж не сердчайте. Вы у меня тут-ка не одни. Надо еще кое-кого поведать. Не обидеть...

— Так, может, здесь выпьешь? Какая тебе разница, где выпить? — вежливо улыбался Анатолий.

Но Кузьма его уже не слушал, досадливо хмурился, будто, Анатолий мешал ему удержать какую-то свою мысль. Деловито прищурившись, он смотрел на Семена.

— Значит, так... — заговорил он раздумчиво. — Беру я по пятерке в день. Ну, и харчи твои. Это уж как водится... Да вот Натолый все тебе скажет. А искать меня... — Кузьма показал рукой на нижние дома. — Во-он там живу. У любого спросишь — покажут.

Он ушел неожиданно твердой, деловой походкой, не забыв запереть ворота и ни разу не оглянувшись.

Анатолий проводил его прищуренным взглядом и, отвечая на немой вопрос Семена, сказал:

— Не любит нашего брата... Не любит. А без нас тоже не может. Кормится за наш счет. Огороды нам пашет, дома строит... Так что и тебе без него не обойтись, без этого бюро добрых услуг. Ты запомни, что он сказал. Пригодится.

От Долговых Семен с Ирандой выбрались уже под вечер.

В электричке Ираида долго молчала, наблюдая в окно проносящиеся мимо темные сосны, уже набухшие от сумрака, потом сказала, будто возвращаясь к прерванному разговору:

— Я считаю, надо брать.

Семен даже не спросил, о чем идет речь. Оба они сейчас думали об одном и том же.

2

Едва открыли дверь и вошли в коридор, как в носшибанул спертый дух, в котором Семен выделил запахи табачного дыма, еды, разогретых весельем человеческих тел. Запахи эти, смешиваясь, давали тот знакомый каждому дух, который, стойко впитываясь в стены, долго еще напоминает о прошедшей в доме гулянке.

Семен подозрительно повел вислым носом.

— Курили.

— Да ты что! — Ираида даже остановилась, не успев подойти к вешалке. Шумно потянула воздух и легко, как бы снимая мужнину напряженность, засмеялась: — Где курили?

— Здесь.

— Тебе показалось. Сам накурился, от тебя и несет, как от пепельницы. Нос большой, а чувствуешь плохо.

— Со свежего-то воздуха я чувую.

— Перестань, — сердито одернула его жена. Торопливо включила свет и, не раздеваясь, заглянула в комнаты, ища Игорька.

— Значит, не накурено? — спросил Семен.

— Нет.

— Ладно, — обещающе согласился он. — Пусть будет по-твоему. — И решительно, не скинув даже сапог, направился в кухню. В другое бы время Ираида прикрикнула на него как следует, пройдишь он по комнате в сапогах, но сейчас даже слова не сказала, молча двинулась за ним.

В раковине навалом лежала грязная посуда, и Ираида глядела на нее растерянно. Семен, не обращая на жену внимания, нагнулся, поднял закатившуюся под стол винную пробку, швырнул ее туда же, в раковину.

— Посуду не мой, — жестко сказал он. — Не вздумай. Придет — сам вымоет. — И тяжело опустился на стул.

Он молчал. Затихшая Ираида стояла рядом, она, кажется, слушала, как гулко отдается в тишине удар капли, и ничего Семену не говорила, а это был верный признак, что и она все поняла, и тоже переживает.

«Она мать, ей труднее», — подумал Семен и мысленно простил ей неловкую попытку скрыть то, что здесь произошло. В его памяти как-то исподволь снова всплыло воспоминание: мать голосом будит, а руками подтыкает под бока одеяло, для чего-то бережет ему тепло. Это воспоминание теплой волной плеснулось в душу, смягчило Семена.

Ираида словно почувствовала мужнино участие, заговорила надтреснутым, горестным голосом:

— Я вот подумала, Семен... Дачу брать нам все-таки придется. Хотя бы ради Игорька. — Она заметила, что муж прислушивается, поднял голову. Особенный горестный тон насторожил его, и она заторопилась, опасаясь, что муж оборвет и не даст высказаться. — Все-таки пятнадцать лет сыну. Возраст, сам знаешь, какой. Вместо того чтобы по улицам болтаться, сидел бы он на даче, от дружков своих подальше. А то доведут они его...



— Если голова на плечах есть — не доведут, — глухо проговорил Семен. — Не маленький, слава богу, сам должен понимать.

— Много ты понимал в его возрасте?

— Да я уж понимал! Я-то понимал! — взорвался Семен. — Я в его годы на заводе вкалывал. Матери помогал. Не шлялся с гитарой по дворам. Некогда мне было шляться. Об жратве надо было думать. Голодный-то не сильно забренчишь на гитаре.

— А при чем тут гитара? — раздраженно спросила Ираида.

— При том, что детство у меня не такое было. Впроголодь жили. Не до гитар было.

— Слышала... Тарелки лизал по столовым.

— И лизал! — взвился Семен. — И ты меня этим не попрекай. Пока на завод не устроился, лизали с братом тарелки в столовых. И нисколько мне не стыдно. Было? Было! Я это помнить буду, покуда живой. Поэтому-то я знаю, чего стоит кусок хлеба. Отец у меня работяга был. Ушел на фронт — ничего не оставил, никакого богатства. Вот и выкручивались как могли, чтобы с голоду не пропасть. Не то что вы.

— А я виновата, что мы хорошо жили? — обиделась Ираида. — Чего ты на меня взъелся?

— Ты не виновата. Я про это ничего не говорю. А только лучше было бы, если б вы тоже жили бедно. Тогда бы мы с тобой понимали друг друга. Что ты с пацаном делаешь? Какого ты из него барина воспитываешь? Кем он у тебя будет? — выплескивался Семен.

— Почему это «у тебя»? — ехидно спросила жена. — Он ведь, кажется, еще и твой сын, не только мой.

— Да потому, что ты его портишь. Скрываешь от меня все его подвиги. Уродуешь деньгами, вещами — всем! Что ни захотел — сразу, будто по щучьему велению: костюмы, свитера. А шиблеты у него какие? Я та-

ких сроду не носил. А рубахи разные? — Семен говорил и помогал себе рукой, словно доставал из шифоньера вещи и бросал их под ноги жене. — У него этих тряпок, как у балерины какой.

— А тебе жалко? Не-ет, милый, — пропела Ираида. — Я не хочу, чтобы мой сын был одет хуже других. Чтобы на него пальцем показывали. Я, слава богу, сама еще работаю. Не сижу на твоей шее. Так что могу распоряжаться деньгами. Да и если хочешь знать, ему дед даст деньги на одежду. Можешь не расстраиваться.

— Дед? — спросил Семен, поражаясь.

— Да, дед, — с вызовом сказала Ираида. — Видит нашу бедность и дает. Скажи спасибо.

С тестем у Семена были натянутые отношения.

— Больше не бери. Слышишь? — сдавленно сказал Семен. — Сами не нищие. Купим что надо, — и стиснул голову руками. — Как ты не поймешь... — продолжал он тихим, глубинным голосом и даже руку приложил к груди, показывая, откуда идут эти слова. — Разве мне денег жалко? Я на себя их не много трачу. Меня зло берет, что сильно легко все Игорьку нашему достается. Захотел кожаную куртку — ему вынь да положь. Сотню рублей на нее выкинули. Или вот эти... джинсы, или как их там. Опять же семьдесят рублей отдали. Труд ваш ценить он не умеет, вот в чем беда.

— Научится, жизнь длинная, — вздохнула Ираида.

— Нет, не научится, если мы сами не научим. Я одного не могу понять: почему ему все позволено, и почему я, отец, не имею права сделать ему замечания? Почему? Только я что-нибудь скажу, ты меня сразу же одергиваешь. Выставляешь перед ним дураком. Ну? Возьмем эту бренчалку. Когда он пошел на курсы, я сказал: лучше бы какому полезному делу обучился. Говорил я так? Говорил. А ты что? «Пусть ходит, в жиз-

ни пригодится...» Ты что? Слушать не хочешь? Нет уж, выслушай. Я долго молчал, все терпел. Теперь заговорил, так что будь добра, выслушай. Возьмем его космы... Тебе нравится, что он ходит дикарь дикарем? Я ему сделал замечание, а ты надо мной же и посмеялась. Дескать, не слушай, Игорек, наш папа ничего не понимает, нестриженным ходить модно. А он слушает это да на ус мотаает. Дескать, ага, мне все позволено, что хочу, то и делаю. Теперь вот и дачу ему покупай. Чтобы дружки не довели...

— Если тебе сын дорог — купишь дачу, — с каким-то тайным значением сказала Ираида. — Я уж не хотела тебе говорить, да, видно, придется... Участковый приходил. Игорьком интересовался. Какие-то ребята драку устроили... В общем, нашего сына взяли на учет.

— На какой учет?

— Какой учет в милиции бывает...

— Ну, вот и дожили, — уронил Семен. — Воспитали. А все твои тряпки, бренчалки, космы. Вот во что они обернулись. Радуйся...

— Одна я, значит, виновата? Конечно, теперь все на меня валить можно. Ты тут ни при чем. — Ираида тоже опустилась на стул, и теперь они сидели рядом, не глядя друг на друга.

— Да нет, не только ты виновата. Я, наверное, больше виноват. Надо было не слушать тебя, а брать ремень... А теперь что? Теперь он с меня ростом. Теперь поздно, ремень не поможет... Не знаю, что и поможет... Ну вот ты говоришь; дачу. А деньги? Об этом ты подумала?

— Три сотни у нас есть, остальные достанем.

— А шуба?

— Похожу в старой, — жертвенно сказала Ираида и, подойдя к мужу, обняла его, стала гладить тронутые сединой волосы, отчего он сразу обмяк и присмирел.

Его всегда удивляло это: разругаются они, но стоит Ираиде слегка приласкать, и вся злость куда-то уходит, и слабеет он перед женой.

После ужина Ираида стала мыть посуду. Семен сидел за кухонным столом, не уходил, будто привязан был к жене общей думой. Завороженно глядел на ее руки, которые, казалось, делали нужную работу сами по себе, потому что голова явно была занята другим.

— Ну, так где деньги возьмем? — спросила Ираида вдруг.

— Да не знаю...

— Думай, думай... Ты глава семьи.

— Вспомнила. Раньше об этом ты что-то не вспоминала, — усмехнулся Семен. — Глава семьи... Ну где я их достану? Я их на своем станке не печатаю.

— Займи на работе. Не знает он, где люди деньги достают.

— На работе... Это же не десятка до полочки — семьсот рублей.

— У вас там что, все безденежные?

— Не безденежные, но столько-то...

— Люди больше занимают — и ничего. Испугался. Скажешь, дачу покупаем. Поспрашивай у своих токарей. Тебе дадут, вот увидишь. Бригадир все-таки.

— А при чем тут бригадир? — вспыхнул Семен. — Раз бригадир, то и отказать побоятся?

— Не достанешь деньги — я сама достану.

— Где? — быстро спросил Семен.

— А это уж мое дело.

— У отца попросишь?

— Что делать, раз муж достать не может, — пожалла плечами Ираида. — Придется поклониться отцу.

Легли спать, отчужденно отодвинувшись друг от друга. Сон к Семену не шел. Какой уж там сон. Тесте-вы деньги он ни в коем случае не примет. А где тогда

взять? Легко сказать — займи на работе. Дадут-то, может, ему и дадут, да только просить совестно, зараннее язык прилипает к небу. И так на участке есть один такой просила. У того совести хватает, все и смеются над ним. Да и как не смеяться: пожилой мужик, токарь, каких поискать, а позвонит ему на работу жена, дескать, ковер достая или что другое из барахла, ищи деньги, — и он сразу раскисает. Ходит по участку, в глаза всем заглядывает. Смотреть жалко. Его, конечно, выручают, потому что, не найди он денег, жена его заест. А уважения к нему никакого нету, хотя и токарь хороший. Так что на бригаду и одного просили по горло хватает. К тому же Семен не простой рабочий. Будь он просто токарь — куда бы ни шло, а ведь он бригадир. Ему терять уважения нельзя. И дернуло же напроситься на эту дачу...

Он прислушался к дыханию жены. Ираида лежала, отодвинувшись от него к самой стене, но по дыханию он понял, что не спит, переживает, и Семен снова пожалел, что поссорился с ней.

Размолвки у них и до этого случались. Причин хватало. Теперь вот еще одна добавилась — дача.

Вообще-то Семен давно смирился с главенством жены в доме, привык делать так, как она велит, но иногда нет-нет и взбунтуется мужская гордость. А может, и не надо попусту изводить себя? Пусть все идет само собой? Ведь не дура же она — Ираида. Никогда ее глупой не считал. Наоборот, раз взяла над ним такую власть, значит, в чем-то умнее его...

Ираида поступила в их заводскую столовую, и он, холостой парень, сразу заметил ее. Была она не красавица, но и не дуришка. Одевалась ярко, даже пестро, вся как бы кричала: вот она я, поглядите! Но привлекала не одной этой яркостью, а и какой-то особенной жизненной силой, сквозившей в умных зеленоватых

глазах. Ираиду никто не считал чересчур гордой, нет, она была проста в обращении, но ее простота никого с толку не сбивала: она хорошо знала, что ей надо, и глядела далеко вперед. Легкие ухаживания парней словно на стенку натыкались. Ей было надо все, либо ничего, поэтому она и посмотреть умела так, будто насквозь витела парня, посмотреть с такой уничтожающей высоты, что ухажеры терялись от ее отрезвляющего взгляда и откатывались.

Семен в то время только вернулся из армии, работал крепко, его фотография не сходила с заводской доски Почета, и Ираида приняла его ухаживания всерьез, хотя он был моложе ее на три года. Выйдя за Семена замуж, она стала еще уверенней, казалось, мужество добавило ей силы. Бросила столовую и поступила в торговый институт на вечернее отделение. А работу себе нашла другую, пошла товароведом, и не куда-нибудь, а в горпромторг: отец посоветовал. Там оклад хотя и скромный, зато есть возможность купить для дома то, чего в магазинах не сыщешь. С дальним прицелом оказалась жена, не какая-нибудь простушка. Диплом еще больше приподнял Ираиду над мужем, и Семен особенно не роптал, лишь изредка просыпалась эта мужская гордость, будь она неладна...

Вот и на этот раз Семен корил себя, думая: а может, и на самом деле жена во всем права? Может, он и правда так отстал от жизни, что ничего и не понимает?..

Когда он положил на теплое плечо жены руку, та не отдернулась, а наоборот, повернулась к нему лицом, словно ждала этого примиряющего мужниного прикосновения.

— Тебе не завидно, как твои рабочие живут? — хрипловато спросила Ираида. — Вот хотя бы Анатолий... Твой ведь ровесник, а уже дача, машина... Неужели ты хуже его? Неужели тебе несколько не обидно?

— Нет, не обидно, — легко отозвался Семен. Не это он хотел услышать сейчас и не об этом говорить. Он-то думал, жена переживает из-за ссоры, а у нее вон что, оказывается, на уме: дача и машина. Но Семен еще до разговора настроился на мирный лад и придержал в себе раздражение. — А ты позавидовала?

— Умеют люди жить...

— А мы что, плохо живем? Может, скажешь, голодаем? Есть нечего? Сидеть, спать не на чем? Так вон гарнитур импортный взяли. Ковры есть. Чего еще-то надо? Машину, дачу? Так дурных денег у нас нет, сама знаешь.

— О машине я не говорю. Где уж нам... — усмехнулась в темноте Ираида. — Машину нам век не видеть.

— Тебе надо было за министра выходить, а не за рабочего. — не выдержал Семен.

— Так что же, теперь ни на что не надеяться? За рабочего... Хорошие-то рабочие вон как живут. Все у них есть. Одному тебе ничего не надо. Да если хочешь знать, у наших баб в торге все мужья на двух работах работают. Потому что хотят жить получше. Рабочий... Думал бы ты о семье, так тоже устроился бы где-нибудь. Прирабатывал бы... Ну, машина — ладно... А уж дачу-то мы можем себе позволить?

— Эту самую? — спросил Семен.

— А какую ты еще хотел?

— Совестно мне, Ираида, — вздохнул Семен. — Нехорошо как-то получается. Старуху из родного дома выживаем. Не могу я...

— А мне? — Ираида приподнялась на локте. — Мне, значит, не совестно? Выходит, я бессовестная?

— Да ты не обижайся, — забеспокоился Семен. — Я только про себя сказал. Совестно мне, вот я и сказал.

— Совестно... — усмехнулась Ираида. — Ей ведь все равно надо уезжать. Она же старая. Ей трудно одной... Ну, хорошо, не мы купим, так другие. Которым не совестно... — она откинулась на подушку. — И чего я так стараюсь... Мне одной это надо, что ли?

Они замолчали, и в этот момент услышали осторожный скрежет ключа в замочной скважине.

Ираида приподнялась. Семен тоже хотел встать, но она мягко придержала его.

— Лежи. Я сама.

Она пошталась в коридоре с Игорьком, потом вернулась и легла.

— Ты всегда сама, — проворчал Семен. — Ну, гляди, гляди...

— Дурачок ты, — сказала она, прижимаясь к нему. — Ну чего ты нервничаешь. Игорь был у друзей. Ну, немного задержался. Не переживай зря. Я поговорила с ним. Пусти тебя — накричишь ни за что ни про что. Я уж как-нибудь сама. Ты сейчас о другом заботься. Премия тебе будет в этом квартале? — перевела она разговор.

— Должна быть.

— Ты уж постарайся. Деньги нам сейчас ой как нужны.

— Постараюсь.

— Пропал бы ты без меня, — тихонько засмеялась она. — Пропал бы ты какой-то не от мира сего...

Она говорила, и слова ее казались истинными. Он верил жене, удивляясь, что днем, наверно, возразил бы и вообще отнесся бы к разговору по-другому. Видно, есть разница, когда женщина говорит: днем или ночью.

Остановились перед дверью. Перевели дух: все-таки четвертый этаж.

— Звони, — выдохнула Ираида.

Семен нерешительно топтался.

— Ты чего? — покосилась жена.

— Дай отдышаться.

— Боишься? — в уголках ее губ кривилась усмешка.

— Ну, дорогой, с тобой, видно, каши не сварить...

Она решительно нажала кнопку звонка и прислушалась. За дверью было тихо.

— Дома никого нет, — сказал Семен, порываясь повернуть обратно, но Ираида даже не взглянула на него, снова придавила кнопку звонка и подержала ее подольше, чем прежде.

В квартире послышался глухой шум, дверь отворилась, и на пороге появился молодой мужчина с распаренным, красным лицом. Вопросительно глядя на незнакомых людей, он торопливо застегивал ворот рубашки распаренными же красными руками.

— Зинаида Александровна здесь живет? — приятным голосом спросила Ираида, так что Семен даже подивился: умеет, оказывается, его жена и так вот приятно произносить слова...

— Здесь, — сказал мужчина.

— Можно ее увидеть? — еще приятнее спросила Ираида.

— Можно, — мужчина смущенно улыбался. — Мы вот пацана купаем, — и он кивнул на дверь ванной, откуда слышался плеск воды и негромкий женский голос, уговаривающий ребенка.

Он пригласил в комнату, предложил стулья. Уселся и сам, выжидающе глядя на внезапных гостей.

— Мы вот по какому делу, — виновато улыбалась

Ираида. — Даже не знаю, как вам объяснить... Насчет дачи. В общем, хотим купить избушку у вашей бабушки.

На лице хозяйина засветился живой интерес.

— Вы что, уже договорились? — быстро спросил он.

— Да нет пока. Вот пришли к вам посоветоваться.

— А мы что? — он с досадой развел руками. — Мы звали ее — не желает. Это надо с Зинкой... — Он повернулся в сторону ванны, позвал: — Зина, слышь, скоро ты там?

— Чего кричишь? Не видишь — иду!

Вошла худенькая женщина с гладко зачесанными влажными волосами, с распаренным, как у мужа, красным лицом. За руку она вела розовощекого парнишку лет пяти.

— Зина, слышь, что говорю-то? Вот люди хотят у матери избушку купить, — заговорил он возбужденно.

— А ты и обрадовался, — незлобно проворчала Зина, усаживая мальчишку на расстеленную кровать и закутывая его в простыню.

Хозяин смутился.

— Да мне-то что радоваться?

— Зина-а-ю...

— Вы извините, — вновь заговорила Ираида. — Может, это не совсем удобно с нашей стороны...

— Ничего, ничего, — отозвалась Зина. Уложив сына, погрозила ему пальцем, чтобы не поднимался, и устало опустила на стул. — Вы были в деревне?

— Были, — сказала Ираида.

— И что вам мама сказала?

— Да пока ничего конкретного.

— Ну, а мы что можем сделать? Избушка ее. Как хочет, так и распоряжается...

— Говорю же, звали ее, — бурчал, потухая, хозяйин. — Приезжала, пожила неделю и назад укатила.

Трудно ей с двумя-то. У нас ведь их двое сорванцов. Который постарше, на улице еще бегаёт. Никак не набегаётся.

— Загонять уж пора, — взглянув в окно, озабоченно проговорила Зина. — Иди, Вася, загоняй его. Хватит.

— Сейчас, — отозвался Вася, не двигаясь, однако, с места. Разговор об избушке почему-то сильно его интересовал.

— Чего не идёшь? — смотрела на него Зина.

— Говорю: сейчас.

— Ох, хите-ер... — добродушно протянула Зина и обернулась к гостям. — Он, думаете, чего тут маслится? Он мотоцикл с люлькой брать хочет, а денег не хватает. На бабкины маслится деньги-то. Он ведь рыбак у меня. Ох, рыба-ак... Как суббота, так его только и видели. До понедельника не жди.

— А чего, рыбы не привожу? — обиделся Василий.

Зина махнула рукой.

— Лучше бы и не видать твоей рыбы. Покрутись-ка с этими огольцами одна целых два дня, пока он заявится. Никакой рыбы не захочешь.

— Рыбалка — дело хорошее, — похвалила гостя Василия, понимая, что от него зависит многое, и уже чувствуя в нём верного союзника. — Сейчас мяса-то не шибко купишь, — заговорила она словами Галины.

— И это верно, — согласилась хозяйка.

— А рыбаку как без мотоцикла? Никуда не денешься, свой транспорт нужен, — продолжала Иранда. — Нет, рыбалка — дело хорошее. Я вон своему сколько говорила: рыбки, мол, свеженькой бы, а с него толку... уж не рыбак так не рыбак. Он у меня хоккеем любит.

Семен только изумлялся, слушая жену, и перебивать ее не стал, наоборот, изобразил на лице покор-

ность, которая, как ему казалось, тоже может помочь делу.

— Вот насчет избушки прямо не знаю, что вам сказать, — с сочувствием качала головой Зина. — Мама не хочет ее продавать. Мне, говорит, охота дома помереть. Выдумала: помереть и помереть. Если ее к нам — трудно ей с двоими. Такие баловники — извели бабушку, пока тут была. — Она погрозила пальцем мальчишке, который уже сидел на кровати и озорно глядел на мать. — В садик бы его устроить, да к весне только обещали...

— Извините, а где вы работаете? — поинтересовалась Иранда.

— На трикотажной.

— У вас там что, с детскими садами так плохо?

— Садик у нас есть фабричный. Но ведь работают у нас в основном женщины. Много матерей-одиночек. Вот и очередь.

— А муж?

— Так и он на фабрике. Слесарем.

— Да-а, — протянула Иранда и покачала головой. Впереди намечался тупик, из которого навряд ли выйти. В глазах жены Семен заметил растерянность, и это вдруг подтолкнуло его, он прокашлялся в кулак и, поправив голос, сказал:

— Нет, у нас на заводе с этим делом хорошо. У нас — пожалуйста, хоть сейчас. — И с таким значением проговорил это Семен, что жена посмотрела на него с удивлением.

— Так у вас и завод побогаче, — поскреб в затылке Василий. — Не то что наша шарага.

— Это точно, — не без гордости согласился Семен: вот он где работает, не в какой-нибудь шараге. — Уж чего-чего, а с садиком у нас никакой проблемы нету. — Он еще поглядел на поскучневшего Василия, на жену

свою. Ираида сидела с ненатуральной, ненужной улыбкой на лице, понимая, что хотя разговор и идет, а дело — ни с места. Ничего ей другого не оставалось, как только сидеть да глупо улыбаться. А вот он, Семен, сейчас скажет такое, от чего даже в горле заранее першило и льдистые иголочки покалывали грудь, как перед прыжком в холодную воду. Семен поначалу пытался зажать эту мысль, придушить, никем не услышанную, но слова уже лезли на язык, не удержать их было.

— Ну, а если мы вам поможем с этим делом? — негромко, но значительно в наступающей тишине спросил он Василия.

— Как поможете? — не понял тот.

— Ну, а если мы вашего пацана в наш заводской садик устроим?

Хозяева переглянулись.

— А можно? — спросила Зинаида с надеждой.

— Постараемся, — важно произнес Семен, улавливая на себе удивленный и благодарный взгляд жены. Вот так-то, женушка, не ты одна умная!

Зинаида растерянно молчала, не зная, ухватиться ли за предложение или не спешить.

Однако Василий уже был тут как тут.

— Оно бы хорошо, если б вышло. Мы бы в долгу не остались.

— Должно выйти, — проговорил Семен сдержанно, как человек солидный, знающий, о чем говорит. Сам он довольно смутно представлял, что у него получится. Мельком слышал в цехе, что с местами в садик на заводе вроде бы неплохо, но выйдет ли с этой затеей — не знал.

Спускаясь по лестнице, Ираида нетерпеливо поглядывала на мужа. Ее так и подмывало спросить, как это он решился на такое и каким образом выполнит

обещание, но она терпела, ждала пока они отойдут подалее от дома родственников Петровны, и уж только тогда спросила.

— Как-нибудь сделаем, — невинно отозвался Семен. Раз сказал, что сделает, значит, на что-то надеялся, значит, есть какая-то еще неосознанная возможность, не просто же так ни с того ни с сего взял и сболтнул...

— Хорошо бы, — промолвила Ираида, и в ее лице Семен заметил несвойственную ей покорность. Не он, Семен, сейчас был при Ираиде, она была при нем, и это открытие грело его самолюбие. У него даже походка изменилась: старался идти тяжеловато, праскачку, с достоинством. Как там ни будь дальше, а эти минуты были его.

...Утром в цехе к нему подошел Анатолий.

— Ну как? Ходили к Зинке?

— Ходили, да попусту, — поморщился Семен.

— Не хочет бабка у них жить?

— Тут, видишь, какое дело, — начал объяснять Семен. — Если бы одного пацана в садик устроить, бабка бы, может, и приехала. А то с двоими ей трудно. — И он потерянно замолчал, дескать, ничего не поделаешь, а сам выжидал: не посоветует ли ему Долгов то же, на что и сам рассчитывал.

— А ты поговори с дядей Гошей, — сказал Анатолий.

— А можно? — навивчал Семен. — Семья-то чужая.

— Кто будет знать. Скажи: сестра. Зачем говорить, что чужой ребенок. Ясно, чужого не примут. Сестра, и все. Да кто разбираться станет? — Анатолий пренебрежительно махнул рукой. — Места есть. Даже не сомневайся.

— Попробую, — сказал Семен, втайне радуясь поддержке Анатолия. — Только ты об этом — никому.

— Какой разговор, — ухмыльнулся тот. — Само собой. В общем, пробивай здесь, а мы с Галиной будем в Залесихе проворачивать.

Анатолий ушел. Семен в задумчивости покурил, сидя на тумбочке, и шагнул к станку: начиналась смена.

Детали попались ему несложные. Точил он их много раз и прежде, а сейчас рассеянно смотрел в чертежи, будто видел впервые, и никак не мог сосредоточиться. Хотя Долгов и обнадеживал его, а осадок от разговора остался неприятный. Вроде как сообщниками стали. Недаром и разговаривает с ним Анатолий на «ты», в слишком уж запросто, будто сто лет в друзьях. Скоро по плечу будет похлопывать...

Семен достал из тумбочки нужные оправки, резцы, инструменты. Посмотрел вдоль станков, поверх голов работающих людей, и у окна, где в тесном промежутке помещался стол мастера дяди Гоши, взгляд его остановился и из рассеянного стал осмысленным. И вдруг Семен понял, отчего у него светилась надежда на детский садик. Дядя Гоша — вот на кого он рассчитывал. На своего старого учителя, председателя цехового комитета. Выходило, что не на таком уж пустом месте возросла Семенова блажь.

Семен установил оправку, зажал в нее деталь — поковку шестеренки, закрепил резцы. Машинально сделал все, что должен был сделать, и хотел уже включить станок, но рука не дотянулась до черной кнопки пуска, так и повисла. Он не включил станок и смотрел не на бурую, в окалине, деталь, а все туда же, в промежуток между станками, где над столом горбилась худая спина дяди Гоши. Ее откуда хочешь увидишь. В конец пролета уйди — и оттуда различишь, как маячит над рядами станков старый учитель, сидя на высоком железном табурете, с которого все кругом видно.

За свою жизнь дядя Гоша едва ли не целый участок обучил токарному ремеслу. Его бывшие ученики сами стали классными токарями, обзавелись семьями, детей наплодили, многие давно обогнали учителя, работают начальниками участков и цехов, и называют их давно по имени-отчеству, а они при встрече все: дядя Гоша да дядя Гоша, будто так и остались перед ним учениками.

Семен посмотрел на дядю Гошу издали и вдруг отступил от станка, пошел по проходу, даже не осознавая еще — куда, не готовясь к разговору, не подыскивая слов, веря, что они найдутся сами, ему останется только раскрывать рот, как сейчас — переставлять ноги.

Подогревало Семена еще и то, что он всегда чувствовал к себе расположение мастера.

Дядя Гоша покосился на него, но продолжал перебирать листки нарядов, раскладывая их на обитом листовым алюминием столе и шевеля губами.

Мучаясь, Семен все стоял перед столом, и дядя Гоша отстранился наконец от нарядов, поднял голову. Худой, морщинистый, будто высохший, но глаза у него еще зоркие, без очков. Папироска торчит в углу рта, дымок пробивается из-под прокуренных усов — дядя Гоша жмурится от дыма. Сколько знал его Семен, всегда во рту мастера торчала изжеванная папироска, и вечно он жмурился от дыма.

— Ну, чего скажешь, Семка? — спросил дядя Гоша располагаяще.

— Дядя Гоша, — волнуясь, заговорил Семен. — Как у нас там с детскими-садиками? Места есть?

Старик выплюнул окурок в самодельную жестяную урлу и закурил новую папиросу.

— Прибавления ждешь? — спросил он, щурясь от дыма.



— Да нет. Я не себе. Сестра ко мне приехала. — И, видя, что мастер задумался, поспешно добавил: — Сродная.

— Сродная? — дядя Гоша пожевал папироску, наморщил лоб, словно с трудом постигая смысл сказанного.

— Приехала с ребенком. На трикотажную устроилась, а там очередь. К весне обещали, не раньше. А куда ей деваться с пацаном? Мужа у нее нету. Одиночка. Хоть в петлю лезь, — несло Семена, и он даже поразился той силе, что привела его сюда и говорила сейчас за него.

— Хоть в петлю, говоришь? Ладно, поглядим, — строго сказал мастер, опуская глаза в бумаги, отключаясь от Семена.

Семен обмер. Ему вдруг почудилось, что мастер все понял, и не хочет разговаривать дальше. Семен не знал, что делать: стоять тут истуканом или уйти поскорее.

— Я же говорю, поглядим, — поднял от бумаг лицо дядя Гоша, и Семен разглядел в его лице что-то новое, холодное, чего раньше по отношению к себе не замечал.

Он повернулся и пошел, весь обмякший, ничего не видя перед собой. Той отчаянной силы, что привела его к столу дяди Гоши, уже не было.

Семен взялся за скользкие ручки суппорта своего станка и держал их, не зная, в какую сторону крутить.

— Ну, что? — услышал он рядом голос Анатолия.

Семен поднял глаза, выдал неохотно:

— Сказал: поглядим.

— Ну, значит, сделает. Не переживай.

Анатолий отошел, и Семен, сделав над собой усилие, принялся за работу.

Дома за ужином он молчал. Ираида тревожно поглядывала на него, не решалась спрашивать, и Семен, чтобы отсечь все вопросы, сказал хмуро:

— Не было его сегодня.

— Кого не было? — не поняла она. — Ты о чем?

— А ты о чем? — грубовато переспросил он.

— Я — о деньгах. Ты же обещал достать, — терпеливо проговорила Ираида. Обострять разговор она не спешила.

Семен в сердцах хлопнул себя по коленке. Про деньги-то он совсем забыл. Весь день думал о садяке, а оказывается, вот еще какой груз висел на его плечах — деньги!

— Ираида... — попросил он тихо, — у меня голова болит. Дай ты мне до утра отдохнуть.

— Отдыхай, кто тебе мешает, — жена усмехнулась. — Голова у него болит! Будто у меня она не болит от всех забот. Тебе что? Ты пришел с работы на все готовенькое, наелся и лег себе. А я? Ужин готовь. Надо? Надо. Игорьку постирай. Надо? Надо. А я ведь тоже не с гулянья пришла. С этим ты не считаешься...

— Ладно, усвокойся.

— С таким мужем успокойсь... Вот завтра придус работы и лягу. Вари ужин сам. У нас равноправие.

Хоть и муторно было на душе, Семен все же улыбнулся.

— Чего расплылся? — прикрикнула Ираида. — Между прочим, я не шучу. Посмотрим, как завтра ты заулыбаешься. Голодный-то.

— Ну, будет тебе, Ираида, будет, — сказал с досадой Семен. — Я и так стараюсь. Целый день из-за детсада мучился. До сих пор перед дядей Гошей совестно.

— А кого на работе не было?

— Его.

— А говоришь, совестно.

— Не хотелось тебе рассказывать. Чего раньше времени-то языком болтать.

— А все-таки, что он тебе сказал? — Настаивала жена.

— Пообещал вроде... Толком я ничего не понял. Подождем, что дальше будет. Может, и сделает.

— Да уж хоть бы сделал, — затуманилась Ираида.

4

Нервно затягиваясь сигаретой, Семен глядел вдоль станков, над которыми склонились его токари, и размышлял, как ему лучше поступить: подряд обходить мужиков или выборочно. Нет, подряд смешно получится. Скорее всего, надо так: к одному можно здесь, на участке, подойти, другого как бы невзначай встретить возле инструменталки, третьего — в столовой... Пусть не целиком всю сумму, хотя бы по частям собрать. И если пообещают, то, конечно, не сразу дадут. Никто таких денег в кармане не носит, придется ждать полочки.

Он помедлил, решая, с кого начать, и пошел по проходу, заранее краснея и стыдясь слов, которые скажет.

Токари встречали его просьбу сочувственно. Одни обещали переговорить с женой, другие своей волей сулили дать сотню с полочки, третьи, хотя и мялись, но прямо не отказывали: с полочки будет видно. А до нее — неделя.

К Долгову подходить не стал, но тот каким-то образом сам узнал и пришел к бригадирову станку.

— Ты что же это, Семен, меня-то минул? — спросил он обиженно.

— Совестно, — признался Семен. — Ведь как получается: дачу нам найди да еще и денег займы дай.

— Конча-ай... — укоризненно пропел тот. — Чего тут стыдного? Свои люди. Сегодня — я тебе, завтра — ты мне. Давай так: я потолкую с Галиной, и если най-

дется у нее, мы к вам как-нибудь вечером и заскочим. Идет?

— Спасибо, — растрогался Семен. Анатолий в последнее время раздражал его даже одним своим видом, казалось, все неприятности начались из-за него, и теперь Семен чувствовал себя перед ним виноватым. Мужик-то, оказывается, к нему всей душой, а он нос воротит. Нехорошо.

Работалось в этот день Семену спокойно: упала с души одна тяжесть. Семен твердо верил: деньги им Долговы найдут.

Однако начавшееся везение этим не кончилось. Одна удача потянула за собой другую: Семен шел с резцом к заточному кругу, когда его поманил дядя Гоша.

— Зайди в завком, — сказал он суховато, не глядя на своего бывшего ученика. — Направление в садик возьмешь.

Семена это обрадовало и испугало. Вдруг в завкоме заподозрят неладное? Ведь фамилия-то в направлении должна стоять не его. Но он тут же подумал, что дядя Гоша, видимо, все объяснил, мол, не самому Табакаеву надо, а его сестре, и значит, все ладно, и изворачиваться там не придется.

И на самом деле все обошлось как нельзя лучше. В завкоме, ни слова не говоря, вписали фамилию, которую им назвал Семен. Все вышло до смешного просто. Семену даже задним числом стало жаль себя за лишние переживания.

Насилу выстоял до конца смены. Не терпелось порадовать жену. Надо же, в один день решились два таких дела, на которые при другом обороте могла бы уйти неделя, а то и две. Вот что значит везенье!

Перед дверью своей квартиры Семен сделал серьезное, непроницаемое лицо, но вошел — и тут же расплылся. Ираида, конечно, сразу все поняла.

Она вертела в руках направление, рассматривала его со всех сторон, как бы боясь, что оно не настоящее, и повторяла с удивлением:

— Ну, порадовал... Вот уж не ожидала, что ты у меня такой пробивной окажешься. Значит, все можно сделать, если захочешь?

Семен скромно улыбался на похвалы жены, и так ему было хорошо от своих удач, что, казалось, все трудности и заботы, отпущенные ему судьбой, уже позади, и теперь его последующая жизнь будет состоять из одних удач и радостей.

Иранда же, едва схлынули первые восторги, заторопилась к Зинаиде. Пусть родственники Петровны знают, что связались не с пустыми людьми. Обещали вам садик — вот, пожалуйста. Теперь ваш черед делать дело.

И Долговы не подвели, пожаловали на другой же день.

Звякнул в прихожей звонок, и Семен даже гадать не стал, кто это. Нутром почувствовал: деньги пришли.

Распахнул дверь и сразу же, хотя Галина стояла впереди мужа, увидел за ее спиной сияющего Анатолия. Ну, так и есть, порядок. Проходите, гости дорогие, на этот случай есть чем встретить. В холодильнике томится специально купленная бутылка коньяка. К коньяку Иранда притащила с базы лимонов и дорогой копченой рыбы.

По виду гостей Иранда тоже поняла, что вопрос с деньгами решился положительно, и через несколько минут стол был празднично накрыт. Ни закусок, ни хрусталия не пожалела Иранда, все самое лучшее, что было в доме, стояло перед Долговыми.

Галина разглядывала расписные тарелочки, золоченые и тончайшие, каких в магазинах сроду не сыщешь, брала за тонкие длинные ножки хрустальные

рюмочки и глядела на свет, отчего грани вспыхивали разноцветными огоньками. Оглядывала импортный гостинный гарнитур, и ее глаза тоже вспыхивали, как грани на рюмках, что не осталось незамеченным внимательной Ирандой.

Семен наполнил рюмки. Он выпивал редко и вообще пил немного. Любил он в застолье не саму выпивку, а то предвкушающее хорошее настроение, которое предшествовало ей. Вот все уже собрались за столом, ждут, и само ожидание, еще не испорченное ни хмелем, ни чем другим, уже дает радость. После, конечно, всяко может быть, а пока — празднично и хорошо.

— Ну, за что выпьем? — спросил он.

— Погодите пить, — хитро прищурилась Галина. — Это мы успеем. Выпивка от нас никуда не убежит. Пока трезвые, отдадим-ка вам деньги. А то выпьем, забудем, да так и уйдем. — Она довольно засмеялась.

Анатолий достал из внутреннего кармана пиджака плотную пачку денег. Шевеля тугими губами, пересчитал и положил перед Семеном.

— Ровно семь сотен. Считай.

Семен смущенно замаялся.

— Да ладно, что там... — и хотел передать деньги жене, но Галина запротестовала:

— Нет, нет, деньги счет любят. Вы уж пересчитайте, — и пока Семен, конфузясь, шелестел кредитками, напряженно глядела на его пальцы и облегченно выпрямилась, когда тот, закончив, вымолвил:

— Все точно. Как в банке.

Иранда унесла деньги, и уж после этого выпили.

— Теперь дело за бабкой, — говорила Галина, высасывая дольку лимона. — Поднажать на нее надо, чтоб побыстрее. Не перебил бы кто.

— Не должны перебить, — заметила Иранда. — Место в садик мы им пробили. Неужели обманут?

— Кто его знает. Покупатели к бабке, как мухи на мед, летят. И откуда только разнюхали — ума не приложу... Иду я, значит, как-то, гляжу, легковушка подъехала. Двое из нее вылезли. Мужчина, представительный такой, и женщина. Расфуфыренная, глаза бы не глядели. Ну вот, выходят они из легковушки и на бабкин дом зыркают, вроде примеряются. У меня сердце так и екнуло... — Галина приложила руку к сердцу, покачала головой. — Шла я к магазину, хлеба взять. А тут вижу, дело неладное. Сворачиваю к Петровне, будто туда и шла. Спрашиваю этих двоих: вам кого? Да мы, отвечают, слышали, что тут дом продается. Дак продали говорю. Я вот и купила. Мужик в город за вещами уехал... — Галина перевела дух, хитро оглядела всех, дескать, это еще не конец, слушайте, что дальше будет. — Ну вот... Как я им это сказала, мужчина сразу и остановился. Раздумывает: идти, нет? А жена, или, не знаю, кто она там, за рукав его так и тянет, так и тянет. Дескать, не слушай ее, пойдем сами узнаем... Ах ты, думаю, такая-рассякая... — Галина оглядела всех хитрыми глазами. — Вижу, такое дело, захожу в калитку наперед их. Да так смело захожу, будто и вправду к себе домой. Баба эта расфуфыренная зыркнула на меня, как змея, да и остановилась. А я иду и иду. Оглянулась калитку закрыть, а они уж в легковушку залазят. Поехали дальше — дураков искать.

— Галине палец в рот не клади! — весело сказал Анатолий.

— А как же иначе, — с готовностью откликнулась та, зардевшись от похвалы. Она положила высосанную дольку лимона и вдруг рассмеялась, вспомнив еще что-то: — Я ведь вам не рассказывала, как дальше было. Захожу я, значит, к Петровне, — начала она обещающе, заранее предвкушая удовольствие. — Захожу я, значит. Ну, мол, как, Петровна? Не надумала еще прода-

вать? А она губы поджала, молчит, как истукан. Я разговор на другое перевела, а сама думаю: сейчас подпущу тебе ежа... Ну вот и говорю ей: ох и жара! Запарилась вся. Дай, Петровна, водички попить. Та и принесла ковшик из избы. Я отпила, поморщилась да и говорю: что-то у тебя, Петровна, вода какая-то не такая. Как это, спрашивает не такая? Да, говорю, вроде как чем-то припахивает. Она ковшик понюхала, тоже отпила. Чо, говорит, собираешь, ничем не припахивает. Вода как вода. Ну, я тогда ей и выкладываю козыри: парнишки по деревне дохлую кошку вчера таскали. Уж не в твой ли колодец бросили? Они ведь, шалопаи, все могут... — Галина засмеялась и продолжала: — Поговорила я с бабкой и ушла. Потом гляжу из своего огорода, а она ведро воды с речки тащит. Из колодца побрезговала.

За столом установилось вдруг молчание.

— Это ты зря, — покачал головой Анатолий, неопределенно улыбаясь и переводя глаза с Семена на Иранду и обратно.

— Ничего не зря. Быстрее уедет, — отмахнулась Галина и, взяв рюмку, выпила залпом.

Семен осторожно глянул на Иранду. Та вежливо улыбалась, но по ее вежливому молчанию и по выражению лица Семен догадался: презирает она эту простушку, не получится у них дружбы.

Сам Семен тоже улыбался, но как бы со стороны видел эту свою вынужденную глупую улыбку. Сначала он чуть было не брякнул что-то Галине, но промолчал, постеснялся. И теперь тяготился застольем, понимая, что испорченное настроение уже не поправишь.

— Ну что, мужики, притихли? — громко спросила Галина. — Выпьем, что ли? — и потянулась через стол к мужу. — Анатолий, можно, нет? — Из ее рюмки плеснулось на скатерть.

— Пей, пока пьется, — сдержанно ответил Анатолий. Ему тоже было явно не по себе.

— Во! Видали, какой у меня мужик? — хвастала Галина. — Сроду не остановит, не ловит за руку. Хочешь — пей! А то мы с ним как-то на именинах были, так парочка рядом сидела — смотреть тошно. Только баба стопку возьмет в руки, а он ей: хватит, опьянеешь. Позорил ее, больше ничего. Пусть пьет, раз хочет. Верно ведь?

Принужденно улыбаясь, Ираида вежливо кивала.

Галина, выпив, стала внимательно разглядывать рюмку.

— Какое у вас все красивое. И посуда, и мебель... Прямо красота... — повернувшись вместе со стулом, она в упор рассматривала сервант, поблескивающий, словно черное стекло. — Не наш, конечно, а, Ираида?

— Не наш, — кивнула Ираида.

— Хорошо, ничего не скажешь. Вот бы нам такой, а? — подмигнула Анатолию и снова оборотилась к хозяйке. — Нам такой не достанешь?

— Можно, — сказала Ираида, ничуть не удивившись просьбе. — В конце месяца должны поступить.

— Ой, спасибо! — обрадовалась та. — А то в магазинах все только наше. А наши разве делать умеют?

— Наши тоже умеют, — возразил жене Анатолий. — Только хорошие-то наши вещи в магазине долго не улежат.

— Тише, — попросил Семен, показывая глазами на дверь Игорьковой комнаты. — Не надо при нем такое. Ни к чему.

— Они теперь больше нас знают, — усмехнулся Анатолий.

— Достанем вам гарнитур, какой надо, — суховаато пообещала Ираида, подводя итог разговору, который, видимо, ее раздражал. Сам Семен тоже будто повин-

ность отбывал за столом, томился в ожидании, когда гости уйдут.

Когда, наконец, проводили, то некоторое время молчали, каждый по-своему переваривая прошедший вечер. И вдруг Ираида рассмеялась.

— Ты чего? — удивился Семен.

— Так... Очень интересные друзья у нас появились. Очень даже интересные... — Она иронически скривила губы. — Теперь доставай им мебель. Думают, раз я в торговле работаю, так мне все можно, подходи да бери. Да-а, большие запросы у Долговой, возросшие запросы, ничего не скажешь. Я-то думала, попросит что-нибудь помельче. Ну, там сапоги на платформе, а она вон куда загнула. Не зря она так старалась, из кожи лезла...

— Надоела она мне, — поморщился Семен. — От одного вида воротит. Это надо ж, со старухой так. Дохлая кошка! Язык как повернулся... Может, врет?

— Кто ее знает. Может, врет, а может, и не врет. У нее не заржавеет... Да ладно, потерпим. Надо дело до конца довести. Не бросать же теперь, после всех переживаний. А там видно будет...

И тут из своей комнаты вышел истомившийся Иго-рек.

— Отец, а правда, что кошку в колодец кинули? — спросил он с живейшим интересом.

— Не знаю, — выдавил Семен, досадуя, что сын, оказывается, все слышал.

— Кошка — это что! Можно знаете что сделать? Незаметно кирпич на трубу положить. Бабка печь затопит, а весь дым назад пойдет. Во будет цирк!

Семен с Ираидой переглянулись.

— А еще можно у нее в доме чертей развести! — докладывал сын, блестя глазами, видимо, поняв молчание отца с матерью как поощрение.

— Каких чертей? — осторожно спросил Семен.

— Элементарных! Как печка у бабки начнет дымить, она позовет печника. А печника надо заранее подговорить. Купить десять градусников, разбить их и вылить ртуть в пузырек. Туда же натолкать иглол. После пузырек плотно закрыть. — Игорек увлекся, показывая руками, как он ломает градусники и вливает в пузырек ртуть. — Этот пузырек печник замажет в печь — и готово. Вечером бабка печь затопит, ртуть нагреется, начнет иголки двигать. Станут они царапать стекло — такая музыка пойдет, будто черти играют! Бабка сразу сбежит!

— А если девять градусников? — деревянным голосом выдавил Семен. — Будет музыка?

Игорек уловил напряженность в голосе отца, немного смешался, настороженно поглядел на мать: как она?

— Наверно, будет, — ответил он неуверенно.

— А тебе не стыдно предлагать сделать такое пожилому человеку? — звенящим голосом спросил Семен. — Совесть у тебя есть? — Он жалел, что промолчал в тот раз, не одернул Галину, — и вот результат. — В школе тебя этому учат? Издеваться над стариками?

— Он пошутил, отец, — сказала Ираида примирительно. — А ты уж и прицепился к ребенку. Шуток не принимаешь.

— Ничего себе шуточки! — возмутился Семен. — Сказал бы я такое своему отцу, он бы снял ремень да врезал по одному месту... А ты, мать, хороша... Вместо того, чтоб сделать замечание, защищаешь его. Кого ты из него воспитываешь?

— Может, не будем при ребенке? — жестко спросила Ираида.

— Ладно, не будем, — согласился Семен. — Давай, воспитывай дальше. Воспитывай... Посмотрим, что из этого выйдет...

Больше всего в семейной жизни ценил Семен спокойствие и устоявшийся порядок. На работе всяко может быть: и нанервничаетесь иной раз так, что всего колотит, потому как отвечаешь не только за себя, но и за всю бригаду. А то — просто устанешь, ног под собой не чувствуешь. Вот и хочется, чтобы дома, когда придешь с работы, было бы все хорошо. Встретила бы спокойная, обходительная жена, понимающая тебя с первого взгляда. Поужинал, рассказал ей все, что произошло за день, посмотрел телевизор, развалился в мягком кресле, и спокойно отправился спать, чтобы завтра снова целый день быть на ногах, нервничать и ругаться из-за разных производственных неувязок. Не часто так бывало дома, но Семен считал, что именно эти спокойные домашние часы и давали ему силы, на них он только и держался.

И если до поездки в Залесиху еще можно было как-то терпеть, то теперь спокойной жизни совсем не стало. На работе он уже нервничал из-за каждого пустяка. Сломался резец — он запустил его в корыто под станок, хотя и пластинка-то выкрошилась совсем малая, зато чи да и работой. Он и раньше-то был не особенно разговорчив, а теперь совсем стал молчуном. Неясная тревога, неизвестно откуда взявшаяся, как вошла однажды в сердце, так больше и не отпускала. Тревожили его и деньги. Семьсот рублей Долговы им не подарили. Отдавать надо. А где их взять? Правда, они с Ираидой получают отпускные. Это как-то выручит, да и премия подсобит. Только все равно успокоения не было. Побанвался Семен за жену, которая сказала, что к ним зачастили из народного контроля. Достанет она Долговым гарнитур, а вдруг это каким-нибудь образом откроется?.. Перед дядей Гошей опять же неловко, совестно старику

в глаза смотреть... Вот так, все одно к одному, и нет спокойствия.

Но иногда, помимо воли, мелькнет в памяти зеленая Залесиха, и будто теплом в душу повест. Греда, оказывается, его Залесиха. Душа тянулась туда, в деревенский уют, и Семен, каждый раз приходя на смену, ждал, что вот сейчас подойдет к нему Анатолий и скажет: ну все, согласна бабка. Но тот молчал.

Ираида тоже стала какая-то дерганая. Вдыхает по делу и без дела. И лишь Семен на порог — смотрит выжидательно. Тоже извелась вся. Одиозко вестей никаких.

Наконец явился-таки Василий. Лицо его было весело, освещено удачей.

— Насилу уломали тещу, — говорил Василий возбужденно. — Ну и помучились с ней. И так и сяк — всяко уговаривали. Надо вам попроворнее все сделать. А то она возьмет да раздумает. В субботу вы как, свободны?

— Да мы хоть сейчас готовы, — залихорадило Ираиду. Она было кинулась собирать на стол, Василий отказался.

— Я ведь в садик за пацаном пошел. Вот и заскочил к вам... За садик-то Зинаида не знает, как вас и благодарить.

— Чего там, — замахала руками Ираида. — Вам спасибо!

В субботу в Залесихе, во дворе у Петровны, собрались все: сама Петровна, Зинаида с Василием, Табакаевы и, конечно же, Долговы, без которых уже нигде Семен с Ираидой не могли обойтись. Ходили по огороду, глядели малину, смородину. Ковыряли штукатурку в избе, определяя, как стары и не гнилы ли бревна. Особенно старалась Галина, вникая в каждую мелочь дошито, словно себе покупала усадьбу. Остальные боль-

ше молчали, а Петровна вообще безучастно сидела под черемухой на лавке, кажется, даже не прислушивалась к разговорам, словно и не о ее доме шла речь.

— Ну, так как? — спросила Ираида, когда обо всем было переговорено, кроме цены. Вопрос этот почему-то обходили в разговоре и покупатели, и хозяева, стесняясь его. Теперь подошло время выяснить и это. — Сколько вы просите?

— Да я не знаю, — пожала плечами Зинаида. — Сроду ничего не продавали.

— Вы хозяева, ваша и цена, — подталкивала ее Галина.

— Мама, — позвала старуху Зинаида, — какую цену назначишь?

Но старуха не отозвалась, даже голову не подняла, и от нее отстали.

— Рублей семьсот, наверное, — краснея, высказался Василий и неуверенно посмотрел на супругу.

Та подумала и согласилась:

— Семьсот так семьсот.

Ираида молчала, лихорадочно соображая, много это или мало, вопросительно обернулась к Галине. И та сразу включилась:

— Ну, теперь ты свое предлагай, — посоветовала она Ираиде. — Какая твоя цена? Скажи людям. Я бы сот пять дала. Изба-то ведь больно старая.

Василий с Зинаидой растерянно переглянулись.

— Нет, — сказал Василий и помотал головой. — Семьсот. Иначе я на мотоцикл не наберу.

— Кто ж так торгуется? — засмеялась Галина. — Уперся как бык: семьсот да семьсот. На мотоцикл ему не хватит... Да кому какое дело, чего ты собираешься покупать, мотоцикл или еще какую холеру. Разве так люди-то добрые торгуются? Ты, Василий, сбавляй по-маленьку, а они, — Галина кивнула на Табакаевых, —

пусть набавляют. Надо, чтоб не по-вашему и не по-ихнему было. Чтоб без обиды. Пятьсот пятьдесят и полсотни на магарыч, а?

Семен слушал и молчал. Ему почему-то неприятен был торг, он готов был сквозь землю провалиться. Хотелось кончить поскорее со всем этим да и забыть.

Он достал из кармана деньги, те самые, что принесли им Долговы, отодвинул Галину, втесываясь из-за ее спины в круг, и, не считая, подал деньги Василию.

— Я работага, а не купец, — сказал он громко, с вызовом и такой уверенностью в своей правоте, что Ираида и слова не могла вымолвить. А Галина даже рот разинула. «Ну не дурак ли?» — было написано на ее остреньком, птичьем лице. Анатолий отвернулся и сплюнул.

Петровна на скамейке очулась. Особенная ли тишина была тому причиной, или по лицам она что-то определила, но до нее дошло свершившееся. Она молча поднялась, пошла в избу и вернулась оттуда с деревянной рамой, в которую вставлены были фотографии всего ее рода. Остановилась посреди двора, прижимая раму к груди сухими бурыми руками...

Грузовик, предусмотрительно нанятый Семеном по совету Долговых, ждал возле калитки. Мужики быстро погрузили в кузов все нехитрое бабкино имущество. Саму Петровну посадили в кабину, и она сидела там неподвижно, прижимая к груди раму, будто кто собирался ее отнять.

Зинаида с Василием забрались в кузов. Вещей там было совсем мало, в одном углу уместились.

— Петровна-то пусть приходит! — крикнула запоздало Ираида вслед уходящей машине, но ее, похоже, не услышали.

В этот день деревня видела, как по бывшему Петровниному двору медленно прохаживалась новая хо-

зайка — полная грудастая женщина в цветастом платье. Знакомилась со своими новыми владениями.

Строиться решили немедленно. Зачем время терять? Пока стоит лето — сухое и теплое — самое время строиться.

Походили по деревне, посмотрели, как у людей. У людей же, в том числе и у Долговых, стояли двухкомнатные дома с верандами. Такой же дом надумали строить и Табакаевы — как у всех, но старую избушку решили пока не рушить. Как ни бедна она, а приедешь поздней осенью — можно будет печь растопить и согреться, и еду готовить. Избушка, как говорится, есть не просила, стояла себе спокойненько, а новый дом весь еще был в голове и требовал стройматериалов. На лесоторговой базе в продаже было кое-что; но, когда Ираида справилась о ценах, пыл ее поугас.

— Вот если бы сотню-полторы выторговали при покупке, так и пустили бы их на материалы, — корила она мужа. — А то смотри, какой богач выискался. Сколько запросили, столько и дал, будто у него денег куры не клюют. И когда только ты поумнеешь? Пора бы уж.

Семен виновато опустил голову, но в душе он никакого раскаяния не чувствовал. Наоборот, уверен был, что сделал правильно. Пусть жена ругается, это ее дело. Но он-то чувствовал, что надо переплатить. Почему надо — он не знал, но верил: это как-нибудь еще отзовется в будущем.

Однако делать вид, что виноват, — это одно, а стройматериалы все же нужны.

За советом пришлось идти опять же к Анатолию. — Доски? — легким голосом переспросил Анатолий, выслушав соседа. — Так это же очень просто. Скажи, в чем наш завод отправляет изделия заказчикам?

— В ящиках, — недоуменно ответил Семен. Он сам



много раз видел, как моторы после сборки упаковывают в высокие ящики, обитые изнутри черной плотной бумагой. В ящиках же поступало в цех и разное оборудование, но он не мог понять, какая связь между стройматериалами и ящиками.

— Сам знаешь, а спрашиваешь, — улыбался Анатолий. — Так вот, эти самые ящики — клад для нас с тобой. Из таких ящиков тут, считай, можно полпоселка построить. Ты сделай вот что: выпиши себе на зиму дров, кубометров пятнадцать. Это будет стоить копейки. Понимаешь? Привезешь — и строй что хочешь. Двенадцать кубов тебе за глаза хватит. А три мне отдашь на разные мелочи. А то мне уже выписывали, больше соваться нельзя — не дадут.

— А мне-то дадут?

— А ты выписывал?

— Нет.

— Ну так чего волнуешься? Тебе без звука дадут. Во-первых, ты дрова не брал, а во-вторых, бригадир... Только тут вот какая хитрость. Когда оплатишь дрова, с квитанцией приедешь к складу. И там грузчикам дашь на бутылку. Понял? Обязательно. Они тебе на дно кузова хороших плах напихают. А сверху — плашек. Да надо большую машину брать, с прицепом. Туда все пятнадцать кубометров влезут. Я так и делал.

— А если остановят у проходной? — спросил Семен.

— Никто не остановит. Будет тебе вахтер в плашках ковыряться. Сверху-то не видно.

— Нет, так я не хочу, — помотал головой Семен.

Анатолий даже сплюнул с досады.

— А строиться как будешь? Где досок возьмешь? Купишь? Покупай, если ты такой богатый, покупай... — И видя, что бригадир опустил голову и задумался, продолжал: — Ладно, если уж ты так боишься, тогда

только выпиши дрова и оплати. Остальное я сам сделаю. Где наша не пропадала!

Семен поколебался, но все же пошел в заводскую бухгалтерию.

— Какие печи вы собираетесь топить? — удивились там. — Ведь вы же, Табакаев, получили благоустроенную квартиру...

— А это я старикам. Отцу-матери, — нашелся Семен. Нехорошо ему было от этих слов, даже во рту неприятный привкус от них остался, а что делать? Не скажешь же, что дачу собрался строить.

Пятнадцать не пятнадцать, а десять кубометров ему все же выписали. Семен отдал квитанцию Анатолию, который ждал его у дверей, сунул на всякий случай пятерку и вышел из проходной на улицу. Там он и решил подождать, пока Анатолий управится с делом и выедет с плашками за территорию.

Он беспокойно ходил по тротуару на противоположной стороне, невидящими глазами таращился на газетный киоск поминутно курил, взглядывал на проходную, на заводские ворота, и ему рисовались картины одна страшнее другой. Вот вахтер, увидев приближающуюся к воротам машину, неторопливо поднимается на мостик, с которого он заглядывает в кузов. И хотя до вахтера далеко, Семен слышит, как постукивают сапоги вахтера по деревянным ступеням, и каждый стук отдается в сердце. Вот вахтер поднялся и глядит в кузов, глядит долго, глядит глазами самого Семена. Он видит, как под рентгеном, на дне кузова, под плашкой, деловые доски и брусья — и рука его тянется к кнопке сигнала. Семен даже слышит пронзительный звон сквозь стены караульного помещения, и тут же, словно только этого и ждали, выбегают другие вахтеры, высыпает из бюро пропусков караульное начальство в гимнастерках, с темными кобурами на поясах. Они окружают

жалкого, растерянного Анатолия, который пытается оправдаться: отчаянно тычет пальцем в квитанцию, показывая, что там значится вовсе не его фамилия. Но его даже не слушают, уводят в караулку, после чего начинают смотреть за ворота, где стоит он, Семен...

Когда у ворот и на самом деле показалась машина и пожилой вахтер стал выбираться на мостик, Семен даже отвернулся. Сердце его бешено колотилось, в подошвы ног будто вкалывали иголки. Но когда он, не выдержав, снова посмотрел в ворота, вахтер уже поднимал полосатый шлагбаум, пропуская огромный грузовик с прицепом, доверху набитый плашкой.

Машина натужно гудя мотором, выехала из ворот, развернулась и остановилась возле Семена. Анатолий распахнул перед ним дверцу, весело скалясь.

— Ну вот, а ты боялась, дурочка, — и подвинулся ближе к шоферу, давая место бригадиру. Потом вынул квитанцию. — Береги эти бумажки. Начнется в деревне какая проверка — покажешь. Все, мол, по закону.

— Какая проверка? — спросил Семен растерянно.

— Ну как какая? Откуда материалы взял, и прочее. Да ты не бойся. Все нормально! С этой бумажкой никто тебя не раскулачит, — он подмигнул шоферу, рассмеялся и махнул рукой: — Давай на Залесиху. — И шофер ни о чем не спросил, кивнул понимающе.

Семен, откинувшись на сиденье, приходил в себя.

Перво-наперво, что посоветовал Анатолий Семену в Залесихе, — так это повалить старый плетень вокруг усадьбы и поставить высокий, крепкий забор.

— Это чтоб любопытные не заглядывали, — назидательно говорил он. — Ты теперь хозяин. Понимаешь? Мало ли чего у тебя во дворе окажется. Тебе надо сейчас все доставать. Надо, к примеру, воду к дому подвести. Зачем мучиться с колодцем, если существует на свете техника. Поставишь ее — она вмиг водички по-

даст и на питье, и на поливку. В жару попробуй потаскай ведрами из колодца. Проклянешь такую дачу. Трубы надо доставать, насос, пятое-десятое, так что без забора — никак. Погляди, как у людей. — Он показал рукой вниз, на деревню. — Видишь, сколько досок перевели на это дело? А доски зря переводить тут никто не станет. Дураков таких нету. Так что думай.

— А где я эту технику возьму? — спросил Семен. Идея подвести воду к избе ему понравилась.

— Ты прямо как ребенок... — досадливо вздохнул Анатолий. — Да завтра же сведу тебя с нашими цеховыми слесарями. Они тебе и насос сделают, и трубы достанут.

— Мне бы чертеж, а насос я бы сам сделал, — сказал Семен, понимая, что вода обойдется недешево.

— Сам... — усмехнулся Анатолий. — А с завода ты тоже сам все вынесешь? Помнишь, как доски вывозили? То-то и оно. Так что доверь это лучше слесарям. Им-то легче. От тебя одно только потребуется — денежку. Денежки — они все сделают... Вот так-то... — Анатолий помолчал, чтобы Семен хорошенько все обдумал, потом спросил: — Строить с кем собираешься? С папаном своим?

— С сыном. Больше мне не с кем. Не Ираиду же запрягать. Вот возьму отпуск, и начнем помаленьку ковыряться.

— Когда ты отпуск возьмешь? — ухмыльнулся снисходительно Анатолий.

— Да хоть завтра заявление подам. По графику мне пора.

— Завтра... — Анатолий с укоризной покачал головой. — С отпуском ты тоже не торопись, — начал он терпеливо объяснять. — Сначала с водой реши. Насос и трубы привези сюда... Потом на заводе пошарь, нельзя ли еще чего достать. В цех покраски сходи. Где двига-

тели красят... Видал, какой у меня пол в доме? Блестит как зеркало. Поговори с малярами, пусть они тебе этой краски сделают. Такой краски нигде не найдешь, только у нас на заводе... В общем, что тебя учить, пони сам. Может, еще что найдешь. Вот так... А когда заготовишься, когда все, что надо, будет у тебя во дворе лежать, тогда и отпуск бери смело. Да на пацана-то сильно не надейся. Много вы с ним настроите! Позови Кузьму. Дороговато, а без него тебе никак не обойтись. Строить он большой мастак, это у него не отнимешь. Уж дом будет как дом. Да и человек он тут нужный, столбов сделает, бревен. Заведи с ним дружбу.

Однако за Кузьмой идти не пришлось, Кузьма сам пришел. Был он, как и в прошлый раз у Анатолия, в мятом пиджаке, с седоватой щетиной на мятом лице — и не бородатый, и не бритый. Казалось, щетина остановилась в росте. Трезвый.

— Здорово, хозяин, — приветствовал он Семена.

— Здравствуй, Кузьма, — живо отозвался Семен, помня наставления Долгова и вкладывая в голос как можно больше приветливости. И подал руку. Но руку его Кузьма пожал как-то вяло, вроде бы с неохотой. Озирался по сторонам.

— Да, говоришь, спровадили бабку-то? Ну и верно. Нечего глаза добрым людям мозолить.

— Никто ее не спроваживал, — сдержанно заметила Ираида. — Она сама уехала. По своей воле.

Кузьма даже не поглядел в ее сторону, будто не слышал. Достал кисет, сложенную газетку, принялся сосредоточенно сворачивать самокрутку.

— Ну дак как, хозяин, возьмешь в работники? — спросил он, затягиваясь махоркой. — Нонче я свободный. Пахать никому не надо. Навоз никто не просит. Дровами заниматься тоже рано. Так что самое время подрядиться строить.

о происшествии? — спросила она ревниво, поочередно глядя на обоих.

— О каком происшествии? — невинно спросил Семен.

— Ты погляди на них... — Ираида скривила губы. — Вся деревня знает, а он будто с луны свалился. Первый раз слышит. Ну, что нахулитанили-то тут? Дрова до станции разложили. Неужели не слышали?

— А ты слышала? — переспросил Семен.

— Я-то слышала.

— Ну раз слышала, и спрашивать нечего!

Игорек благодарно взглянул на отца и хотел выйти. Оставаться наедине с матерью ему сейчас не очень-то хотелось: побавался расспросов. Однако она снова придержала Игорька.

— Говорю, же отец ходит. А ты пока хлеба нарежь. Огурчиков покроши на салат. Помози немного, а то я заматалась с вами одна-то.

Семен медленно брел вдоль грядок, осторожно нащупывая узенькую тропинку и стараясь не ступить сапогом куда не надо. Нагибаясь, срывал хлопающие луковые перышки в сизом палете пылицы, отщипывал веточки уже буреющего укропа, от которых как ему казалось, шел запах малосольных огурцов. И эта немудреная работа ему неожиданно понравилась. Хлопали туго луковые перья, с тонким, еле различимым скрипом отрывались веточки укропа, словно живые они были и подавали свой голоса.

Он задумчиво пожевал луковое перышко и ощутил во рту легкое жжение. Вроде бы из одной земли тянут соки все эти растения, которые соседствуют в его огороде, а такие разные. Одни — сладкие, другие — горькие. Вот и люди тоже: одной землей кормятся, похожие друг на друга: голова, руки, ноги вроде с виду одинаковые, а изнутри — разные...

Задумавшись он не обратил внимания на раздавшийся во дворе звук пилы. Но когда пошел обратно — увидел Иранду. Полусогнувшись, она стояла возле черемухи и разглядывала свой палец. Семен, подойдя, увидел на пальце жены кровь, которая падала вниз тяжелыми каплями. Только теперь он заметил все сразу: и искривленное болью лицо Иранды, и брошенную в сторону ножовку, и рыжие опилки у ствола черемухи, и неровный, рваный надпил ствола.

Иранда подняла на него суженные от боли злые глаза.

— Ну чего стоишь как истукан! — крикнула она раздраженно. — Баба пилит, палец себе изуродовала, а он глазеет. Возьми пилу! Слышишь!

Он поднял с земли ножовку в бурых пятнах крови, непроизвольно отер ее о штанину и опустился на одно колено, устраниваясь поудобнее возле ствола.

Ножовка мягко вошла в плоть сырой древесины. Сыпанули на штанины опилки. «Все равно теперь пропадет, — мельтешило в голове. — Уж лучше спилить. Ведь добивают же раненых лошадей и собак. А дерево — оно тоже живое...»

Семен пилит и утешал себя, уговаривал, дескать, зачем раненому дереву истекать соками и медленно гибнуть, а где-то в самом темном уголке души рождалось даже непонятное облегчение...

Зеленый взрыв взметнулся перед домом и, когда во дворе улеглась пыль, стало видно, как стара изба. Тесовая крыша, оказывается, поросла мхом, плахи потрескались и прогнули. На свету ясно проступили трещины и морщины стен. Черемуха раньше прикрывала собою избу, и теперь, лишившись прикрытия, изба беззащитно обнажила все свои изъяны.

Семен стоял в оцепенении, все еще будто слыша предсмертный треск ствола, шум ломающихся веток,

хлестко стеганувших по земле, видя запоздалым зрением облако пыли, застелившее двор, корчащиеся ветви. Кажется, он только теперь понял, что произошло. И вдруг ему захотелось уйти, уйти куда угодно, лишь бы не видеть распластанного во дворе зеленого вороха...

Он резко повернулся и вдруг замер на месте, встретившись с глазами Игорька. Сын, наверное, выскочил из избы на шум падающей черемухи. Он стоял и смотрел на отца. Глаза у сына были какие-то нехорошие, темные и совсем чужие. Семен выронил ножовку из рук и пошел прочь.

Ужинать он отказался. Не стал включать и телевизор, хотя подходило время хоккея. Сел на осиротевшую скамейку и стал смотреть в заречье, где за бурыми лугами в вечерней дымке неожиданно проклевывались огни города. Днем тут город не чувствовался, а теперь вот напоминал о себе беспокойно-желтоватым пятном на растушеванном сумерками горизонте.

Спустя некоторое время подошла Иранда и села рядом. Подула на забинтованный палец, посмотрела в лицо мужу, ища сочувствия, но тот задумчиво смотрел мимо.

— Ну, долго переживать будешь? — спросила она примирительно.

Он молчал, и она толкнула его плечом, чтобы расшевелить, вывести из тревожной неподвижности.

— Чего раскис? — заговорила она теплым, обнадеживающим голосом. — Не переживай ты из-за пустяков. Спшили и спшили. Не нужна нам она была. Огород затеняла... Послушай-ка, что я тебе скажу... — Иранда наклонилась к нему с тихой, мечтательной улыбкой. — Я вот все думаю, машину бы нам купить...

Семен повернулся к ней.

— Машину?

— А что? — Белое Ирандино лицо молочно просту-

пало из тьмы, и на нем хорошо различалось удивление непонятливостью мужа.

— Ты же говорила: пешком ходить для здоровья полезно.

— Конечно, полезно, — отозвалась она с лукавой улыбкой и положила теплую руку ему на плечо. — Я разве от своих слов отказываюсь? Только, знаешь, Сема... совестно как-то. Все на машинах ездят, одни мы, как нищие... Я чего хочу сказать-то... — заторопилась она. — Овощи у нас теперь свои. Денег на питание будет уходить меньше. Так что можно и откладывать. У вас как на работе с машинами? Продают?

— Продают. Передовикам.

— Ну вот, — обрадовалась Ираида. — А чем ты не передовик? Бригадир. И бригада у тебя не простая.

— Какой я к черту передовик, — горько усмехнулся Семен. — Поганой метлой надо гнать таких передовиков, — и передернул плечом, пытаясь стряхнуть руку жены.

— Ты на себя не наговаривай, — с легким раздражением отозвалась жена, но руку не убрала. — Чем зря ныть, ты лучше пораскинь мозгами да двинь какой-нибудь почи. Чтобы заметили. Глядишь, и выделят. Нам на нашу бедность хотя бы «Запорожец». Года за два наскребли бы.

— Почин... — криво усмехнулся Семен и покачал головой. — Их, этих починов, столько перебивало, что, наверно, нового и не придумать. Да и не сильно сейчас крикунам-то верят.

— Придумай что-нибудь. Неужели у тебя совсем фантазии нет? Захочешь, так придумаешь.

Семен не ответил. Задумавшись, он снова посмотрел туда, где все отчетливее набухало тревожное желтое зарево. Оно прорастало из тьмы будто специально для него, чтобы в далеком, слабом сиянии он мог разгля-

деть свою прежнюю и теперешнюю жизнь как бы со стороны, сторонними глазами.

— Ладно, — заговорил он мягко и раздумчиво. — Допустим, купим мы машину. Допустим... — И неоконченно примолк, чтобы жена не перебила, прислушалась к тому, что он скажет дальше. — А потом?

— Ездить будем, — откликнулась она. — То ли дело — со своей машиной! Нагрузил в багажник чего хочешь — и никаких мучений с электричкой. А то на саночках не очень навозишь. Да и овощи мерзнут.

Семен терпеливо переждал, пока она выскажется.

— А дальше? — спросил он снова, и его спокойный вроде бы голос зазвучал с внутренним вызовом, с едва различимой тайной насмешкой, отчего жена придвинулась к нему ближе и заглянула в лицо, пытаясь осмыслить его выражение.

— Помнишь, Ира, давно-о, лет десять назад, а то и больше, — начал Семен, медленно вытягивая из памяти пережитое. — Может, ты и не помнишь, а я помню... Так вот, ты говорила, дескать, купим холодильник — заживем. Помнишь?

— Ну и что? — насторожилась Ираида. — Хочешь сказать, что и не надо было покупать?

— Я не говорю: не надо. Надо... Потом еще много надо было. Много еще чего купили. С этой дачей вот. — Семен кивнул на избу. — Тоже: вот заживем, когда купим... Купили. Зажили. А теперь — машина. Купим — заживем. Ну, а дальше? Об этом ты задумывалась? О том, что дальше будет, когда машину купим?

Она остро посмотрела на него, но ничего не сказала. Гадала, видно, продолжать разговор или обидеться. И решив, что лучше обидеться, не только душой отодвинулась от мужа, но даже просто-напросто демонстративно отодвинулась от него на другой край скамьи.

Жена молчала, скорбно опустив голову, и Семен подумал, что молчит она не только оттого, что обиделась, но и потому, что ей просто нечего сказать. Она не знает, что дальше... «А он-то знает?» — кольнула дальняя мысль. Сам-то он как живет? Тоже ведь вечно ждет каких-то маленьких радостей. Закончится смена в цехе — он и этому рад, радуется, что скоро придет домой, в свою семью, где его ждут. Или вот Залесиха. Едет он сюда — и тоже радуется... Это, конечно, помогает жить, но он и сам заметил, что за последние годы стали его радости какие-то слишком уж маленькие, приходят и тут же забываются... Стало быть, зря он жену обидел. Разве виновата она, что живет другой, оборотной стороной его работы? Вся ее изворотливость, весь ее ум только на то и направлены, как бы получше истратить заработанные ими деньги, укрепить покупками семью. А может, так оно и должно быть? О чем ей, жене и матери, еще задумываться? О каких идеях? У нее свои заботы, отпущенные самой природой. Это ему, мужчине, надо думать — как дальше?..

— Слышь, Ира... — произнес он бережно, прислушиваясь к самому себе. Он давно не называл ее так коротко и ласково, а сегодня отчего-то второй раз сказал: Ира. И вдруг что-то молодое, забытое ворохнулось в нем, отчего и направление его мыслей изменилось. Хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы простила его грубость, а с языка сорвалось совсем другое. — Ира, пошли погуляем...

— Как это погуляем? — спросила она со слабой, вымученной улыбкой. Не могла понять: шутит он или нет?

— Ты что, забыла, как люди гуляют? Вот возьму тебя сейчас под руку, и пойдем в лес! Молодость вспомним. Когда мы с тобой последний раз гуляли?

— Давно... Я уж и забыла.

— Ну вот, вспомним, — смеялся Семен и тянул ее за руки со скамейки. Жена стыдливо сопротивлялась, но все-таки поддавалась ему. Встала, растерянно оглядываясь по сторонам. Она словно боялась, что кто-нибудь может их увидеть и осудить. Но увидеть их было некому. В избе стоял синий полумрак: сын смотрел по телевизору хоккей.

Семен взял жену под руку, немного стесняясь этого, чувствуя, что и она тоже стесняется, и повел к воротам.

Ираида шла тихо, стараясь не шуметь. Когда вышли за ворота, сказала:

— Увидит кто, скажет: вот два старых дурака.

— Пусть говорят, — отозвался Семен, крепче прижимаясь к теплому боку жены и вздрагивая от этого прикосновения. — Воровать мы пошли, что ли? Ведь мы — муж и жена. Мы, наверно, и ссоримся часто оттого, что вот так мало гуляем.

— А когда нам гулять? — усмехнулась она. — Вон сколько забот.

— Заботы всегда будут. Никуда от них не денешься. Да только если одними такими заботами жить — скучно будет. Ты помнишь, как я тебя провожал первый раз?

— Помню. Ты от меня на два шага в стороне шел.

— Боялся, — засмеялся он. — Я ведь тебя, Ира, боялся.

— Почему?

— Не знаю. Приду в столовую, вижу, как ребята разговаривают с тобой, шутят, — и даже зло берет. Думаю, а чем я хуже них? Вот сейчас подойду и скажу что-нибудь... И только захочу тебе что-нибудь сказать — а язык не ворочается, будто чужой. И смотреть тебе в глаза боялся. Гляну потихоньку, а меня будто опалит, и отхожу от тебя поскорее.

— А я думала, ты меня просто не замечаешь. Ты мне таким серьезным казался. Сроду не улыбнешься. Думала: выйдет из тебя толк.

— Не вышел?

— Я ждала большего.

Он не обиделся на ее слова. Воспоминания были светлые, все заслонили собой.

— Я боялся тебя, — продолжал он, радуясь давно пережитому. — Провожу тебя, а сам еще долго хожу около твоего дома, разные ласковые слова говорю. Тебе самой их сказать боялся, а назад уносить не хотелось. Вот и говорил их около твоего дома, думал, что ты их услышишь. Не знаю как, но услышишь. Сильно мне хотелось, чтобы услышала.

— Глупый, — вздохнула Ираида.

Дорогу плотно обступили деревья, и сюда не проникали ни огни деревни, ни лунные блики. Потом деревья раздвинулись, и в слабом, зыбком свете они увидели поляну в голубоватом мерцании. Прямо перед ними, у ног, ясно ощущались светлые пятнышки. Это были ромашки.

Семен на ощупь сорвал несколько цветков и подал жене.

— Спасибо, — сказала она грустно. — Ты мне редко цветы дарил.

— А где их у нас в городе найдешь?

— Захотел — нашел бы.

Дорога, перечеркивая просеку, уходила дальше, в глубь леса, но туда они не пошли, а свернули по просеке и скоро остановились на высоком берегу, под которым льдисто сверкнула не тронутая даже слабой рябью гладь протоки.

— Давай искупаемся, — сказал Семен неожиданно.

— Сумасшедший, — улыбнулась жена. — Дня тебе мало.

— Дня мало. Это уж точно. Днем-то надо строить. Только ночь для себя и остается. Пойдем. — И потянул ее вниз, помня, что где-то здесь должна быть тропка.

— Ты это серьезно? — удивилась она, выдергивая руку.

— Серьезно. Искупаться в такую лунную ночь, это знаешь... Это очень даже здорово. — И он снова попытался стащить жену за руку вниз.

— Перестань, — сказала она холодно. — Полные туфли песку набрала. В детство уже владаешь.

— Владаю, — согласился Семен. — У меня детства-то, считай, не было. Вот оно теперь и зыгрывает во мне.

Ему расхотелось и купаться, и гулять. Ночь давно. Пора спать, как спят в это время все серьезные люди...

— Пойдем домой, — сказал он упавшим голосом, удивляясь, что какие-то минуты назад у него было особенное, молодое и радостное состояние души, которое будто над землей его несло, а теперь вот все стало обычно. Он жалел, что это неожиданное состояние так мало побывало в нем. Молча довел жену до калитки, вошел вместе с нею во двор и так же молча зашагал вниз, по тропке, между рядами подсолнухов, где был близкий выход к реке.

— Не хочешь — не надо, — сказал он хриловато. — Я и один схожу.

Светила луна, но от заборов падали тени, и потому ничего под ногами не было видно. Он старался идти подальше от заборов, чтобы не влететь в крапиву, вымахавшую в человеческий рост. Лютая это была крапива, от легкого прикосновения ее резных листьев вскакивали долго не проходящие, жгущие волдыри. Но хозяева огородов, выходящих на улицу, крапиву не трогали, берегли ее, видя в ней надежную защиту своей малины и смородины от мальчишек и разного прохо-

жего люда. Мальчишки, правда, при удобном случае расправлялись с крапивой, срубая прутьями ее ядовитые верхушки, мстя и за прошлые, и наперед, за будущие обиды. Да только ли мальчишки? Даже взрослые, идя к реке, нет-нет да и зацепят ее подвернувшейся палкой. Однако крапива скоро снова поднималась, она становилась еще выше и гуще, крепла всем назло. Очень много в ней было жизни, больше, чем в любом овоще, растущем в огороде. Никто ей не рыхлил почву, никто ее не поливал, не удобрял, и чем больше ее истребляли, тем упорнее она росла. Для кого? Для чего?

Заборы ушли в стороны, и за тополями остро и неожиданно блеснула река. Полная луна висела над ней, зыбкий свет струился в реку, насыщал ее до дна и поднимался на поверхность так, что думалось, не луна, а сама река освещала и небо, и кусты на той стороне. Казалось, от речного избыточного света молочно проступал песчаный пологий берег, не тронутый ничьими следами.

На сухом песке Семен разделся и, ощутил легкость, будто с одеждой оставил на берегу все заботы, пошел в реку.

Прохладная, живая вода бережно приняла его, туго обжала струями. От неожиданности он вздрогнул, и это подтолкнуло его. Семен вскрикнул от непонятого восторга и нырнул, ощущая, как глубина сдавливает грудь, стучит в висках, наполняет глаза золотым мерцанием.

Жутко и сладко стояла перед открытыми, невидящими глазами плотная, немая мгла. С силой выгребая ладонями, он опустился до самого дна, вспомнив, как мальчишкой любил доставать дно, и, задев кончиками пальцев холодный донный песок, расслабился, отдаваясь глубинной силе, несущей его вверх, к слабо проступавшему свету поверхности.

Сколько жил он в Залесихе, а такой радости не знал, не представлял, что она совсем рядом. Так хорошо было плыть под луной, ощущая, как река смывает с кожи пыль и пот. Вот если бы выйти отсюда не только с чистым телом, но и с чистой, обновленной душой, не отягченной ничем...

Семен грустно усмехнулся этим мыслям.

9

— Эй, сосед!

Семен на крыше прислушался. Он не понял, чей это голос, и выжидал, не спешил отрываться от работы. Саднящими от ушибов и порезов пальцами прижал острие гвоздя к месту, готовно занес молоток, чтобы коротким, сильным ударом пробить синюю, в радужных разводах гладь кровельного листа и потом, расслабившись, прогонистыми махами пришить очередной лист к упруго прогибающейся снизу плахе обрешетки. Не дождавшись повторного зова, повел головой вокруг, однако ни за воротами, на дороге, ни у себя во дворе никого не увидел. Пусто было во дворе. Жена с сыном ушли на реку полоскать белье. Может, почудилось? Так нет, явственно слышал близкий мужской голос. Уж не Долгов ли его зовет? Так чего бы ради?

Но все-таки, опустив молоток и перебирая руками по накаленным полуденным солнцем железным листам, Семен подполз к краю крыши, за которым лежала соседская усадьба, и глянул вниз, на травянистый пустынный двор. Там, внизу, почти у самой стены своего нового дома, опираясь на лопату, стоял Анатолий и, задрав голову, смотрел на него с терпеливым ожиданием. Подле Анатолия чернели глубокие узкие ямки с влажной, не подсохшей еще землей, выброшенной на траву из глубы, желтовато светились ошкуренные сос-



новые бревна. Походило, Долгов затевал что-то строить.

— Слышь, сосед, — позвал Долгов не тем покровительственным и поучительным голосом, каким разговаривал с Семеном обычно, а вяло и просительно. — Помоги столбы поставить. Одному силов не хватает. — И устало, просительно же улыбнулся.

Семен молча спустился с крыши. С соседом он в последнее время почти не разговаривал, перебрасывался только иногда приветствиями, да тот особенно и не лез на глаза, видно, чувствовал к себе неприязнь. Но сейчас вот позвал. Что же... Почему не помочь, раз просит. Руки не отвалятся.

Давно Семен не был у Долгова во дворе и сейчас остро разглядывал и только что появившиеся черные ямки, и золотистые бревна, и сваленные у стены дома узкие темно-красные доски с крупными белыми надписями и цифрами. Были когда-то эти доски стенами товарных вагонов, много разных мест повидали на своем веку, да вот где им пришлось осесть: в долговском дворе.

Семен подошел к соседу и готовно встал рядом. Он ни о чем не спрашивал, молчаливо давая понять, что его соседские дела никак не интересуют. Он просто поможет, в чем надо, и уйдет так же молча, как и пришел.

— Гараж вот строю, — сказал Анатолий, чтобы не молчать в неловкости, и кивнул на покрытую пестрой скатертью крышу машины в глубине двора перед верандой. — Ржавеет под открытым небом. Гиблое дело без гаража. — И вздохнул, лица сочувствия.

Семен из вежливости кивком согласился с ним.

— Жердей бы на перекрытие где найти, — продолжал Анатолий, ободренный хоть и слабым, но все же вниманием соседа. — Доски дельные на гараж перево-

дить жалко. Осин бы молодых напилить. Настелить их, а сверху руберойдом. Как думаешь? — и мечтательно сузил глаза на взгорок, словно выискивая в березняке синеватые стволы осинки, затесавшиеся там и сям.

Семен безразлично пожал плечами и нетерпеливо переступил с ноги на ногу, ожидая дела.

Вдвоем они подняли бревно, поставили в ямку. Анатолий, отойдя в сторону и прищурившись, смотрел, прямо ли стоит столб, показывая ладонью, в какую сторону наклонить. Потом стал торопливо прикапывать, вбивая в землю для крепости обломки кирпичей, припасенные заранее. Семен помогал ему утрамбовывать землю.

После того как поставили третий стоек, сели на оставшееся бревно отдохнуть. Долгов подстелил под себя брезентовые рукавицы, чтобы не испачкать сосновой смолой спелочные рабочие штаны, в которых Семен привык видеть его в цехе. Неловко помолчали.

— Скоро новоселье справлять будешь? — спросил Анатолий, оглядывая почти готовый табакаевский дом.

— Скоро, — нехотя отозвался Семен. — Вот крышу закончу, и останется одна малярка.

— Веранду пристраивать не думаешь? — деловито заинтересовался Анатолий.

— Ну ее подальше. Не дождусь, когда развяжусь с этим. Надоело.

— А чем будешь заниматься?

— Да ничем. Отдыхать буду.

Анатолий улыбался затаенно, вглубь себя.

— Не-ет, у меня еще одна задумка есть. Вот гараж сделаю и займусь... Бассейн хочу замастырить. Во-он там, посерединке двора. Перед окнами.

— Бассейн? — удивился Семен. — Зачем он тебе?

— Ну как зачем? — снисходительно улыбался сосед. — С одной стороны — красиво, а с другой — вода

для поливки всегда теплая будет. Искупаться опять же можно. Вот цементу достану и помаленьку начну. Бульдозериста бы где найти. Котлован вырыть... — Долгов покосился на опустившего голову соседа. — Не одобряешь, что ли? Вот погоди, сделаю — позавидуешь. Вечером искупался возле дома — и в постель. Благодарить!

— Так речка же рядом, — сказал Семен.

— Речка не то, — помотал головой Долгов. — К ней надо еще идти. А там народ, шум, визг, колготня... Не-ет, не желаю. Дома будет спокойнее. Никто не лезет, не мешает. Персональный бассейн, сами себе хозяева. Посмотришь потом.

— Ну, твое дело, — вяло отмахнулся Семен. — Строй хоть фонтан. А я — все. Завязываю с этим делом. Буду на речке загорать, в лес ходить. Никаких больше строек. По горло сытый.

— Не наскучит отдыхать-то? — спросил Анатолий. — Без дела сидеть скучно. Я вот, к примеру, не смогу без дела. Мне обязательно надо чем-то руки занять, как-то ковыряться.

— Дело у меня на заводе. А тут — отдых, — резко заметил Семен.

Анатолий легонько улыбался, но совсем не насмешливо, а с мягкой задумчивостью, дескать, ну что ж, каждый живет, как ему хочется, и судить никого нельзя. Он и поднялся с этой примирительной полуулыбкой. Разговор начинал заостряться. Он это понял по тону соседа, по затвердевшему его лицу, а ссоры Долгову не хотелось. Не ко времени. Опасался остаться без помощника.

Семен, поднявшись с бревна, стал очищать штаны от налипшей смолки. Облегченно вздохнул. Обошлось без лишнего раздражения. Он уже взглядом примеривался к бревну, гадая, с какой стороны к нему подступ-

иться, но тут из-за ворот послышался грохот и тележный скрип. Из леса медленно выехала телега, постукивая колесами по обнаженным корням сосен, повернула на дорогу.

На телеге, свесив ноги, сидел Кузьма. На руке у него намотаны вожжи, но держал он их слабо, не направлял коня. Голову Кузьмы кренило то в одну сторону, то в другую, но глядел он на мир благодушно, даже не обкладывал коня по своему обычаю крепкими словами, без которых, как он сам говорил, конь скучает. Катилась телега помаленьку — и ладно. Конь сам домой привезет.

— Где это он успел причаститься? — подивился Анатолий. — Может, уже и медведей в лесу палогом обложил? — Но тотчас согнал с лица насмешливое выражение, будто вспомнив что-то. Уже какой-то интерес светился в его глазах, цепко следящих за телегой с подвыпившим Кузьмой.

— Привет, Кузьма! — крикнул он, сложив ладони рупором.

Кузьма повертел головой и, заметив мужиков в долговском дворе, натянул вожжи.

Осторожно, боясь уронить себя, Кузьма сполз с телеги на землю. Покачался малость, обретая уверенность в ногах, и пошел к ожидающим его мужикам.

— Здорово, хозяева, здорово! — силловато проговорил Кузьма и, вытерев руку о пиджак, протянул для пожатия. Сначала Анатолию, потом Семену.

— Опять кого-то строишь? — пробормотал он, озирая двор.

— Да надо, Кузьма, надо, — жертвенно развел руками Анатолий. — Конюшню строю. Во-он для того коня, — показал пальцем на машину. — Она хоть и железная, а тоже заботы требует.

— Ну-ну... — неопределенно отозвался Кузьма, про-

следил за пальцем Долгова и, обернувшись на свою лошадь, не ушла ли, стал сворачивать самокрутку.

— Мы вот гадаем, где ты выпил, — легко и доброжелательно говорил Анатолий. — Уж не медведи ли поднесли?

Пошатываясь, Кузьма отступил на шаг, склонил голову набок и из этого положения подозрительно посмотрел на Долгова.

— Они самые. А чо тебе так интересно?

— Да мне ничего, — живо откликнулся Анатолий, подмигивая Семену. — Пей на здоровье. Просто мне интересно.

— А я и пью, — искоса глядел Кузьма. — Мне подают, я и пью. Медведи... Если хошь знать, с медведями душевней пить.

— Это почему же? — с веселым любопытством спросил Анатолий. — Чем же душевней-то?

— Я потом тебе скажу, — многозначительно пообещал Кузьма, и Анатолий, уловив недобрый намек в низких глазах Кузьмы, смял улыбку и отвернулся.

— Потом, потом... — продолжал Кузьма, морщась от дыма, собирая морщины на небритом лице. Затоптал окурочок, потер ладони о полы пиджака. — Ты вот чо, Натоллий... Ступай принеси чо-нибудь. А то в горле сухость.

— Выходит, мало подали медведи? — кольнул тот.

— Пошто мало? Они еще подавали, да я отказался. Будет, говорю. Мне надо еще к Натоллию зайти. А то он скажет, где-то пил, а меня обошел. Обидите еще, говорю... Ты иди, иди, — продолжал Кузьма, видя, что Долгов замешкался. — А то мне ехать надо. Конь еще не поенный. Он-то не железный, терпеть не умеет.

Анатолий растерянно переминался с ноги на ногу, не зная, какое выражение придать лицу, и поэтому жалко усмехаясь. Он, видимо, уже жалел, что завел этот

разговор про медведей, судя по всему, обидевший Кузьму, и теперь не знал, как из него выйти.

— А может, тебе хватит, а, Кузьма? — сочувственно спросил Анатолий. — Ты проде уже хороший.

— Ну, если жалко, то не надо. Мне вот Семен подаст.

— Да почему жалко-то? — Анатолий развел руками. — Я тебе разве когда отказывал? Я же хочу как лучше.

Он торопливо пошел в дом и вернулся со стаканом водки в высоко поднятой руке. Стакан нес двумя пальцами, остальные брезгливо оттопырив, и руку держал на отлете, показывая, что затею эту он не одобряет и несет, лишь потому, что ущемили его самолюбие, назвав жадным.

Анатолий подал Кузьме стакан и малосольный огурец с налившими веточками укропа. Кузьма молча принял стакан, отпил до половины, а оставшуюся водку небрежно выплеснул на траву.

— Чего же водку-то вылил? — потемнел лицом Анатолий. — За нее деньги плачены. Бесплатно ее пока не дают.

— Ты же после меня допивать не будешь, — сказал Кузьма, с хрустом вонзая зубы в огурец. — Побрезгуешь. Вот и вылил. Куда ее девать, раз больше не жаю.

Анатолий болезненно поморщился, глядя как водка впитывается в землю, и вздохнул.

— Ну ладно. Черт с ней, с водкой. Мне для тебя, Кузьма, ничего не жалко.

— Вот я так и подумал, — открыто ухмыльнулся Кузьма. — Ты меня любишь, Натоллий. Я знал...

Анатолий, казалось, не заметил его ухмылки, задумчиво наблюдал березняк, и в лице его не было ни обиды, ни сожаления о зря погубленной водке.

— Из леса едешь, работал там, что ли? — спросил Анатолий, упрямо поворачивая разговор к лесу.

— Нет, не работал, — проговорил Кузьма, доедая огурец. Утер мокрые губы рукавом. — Поглядеть ездил, что и как. Лесник попросил участок осветлить, в логу. Седни я немного не в себе. Завтра с утра при- мусь. Надо помочь мужику.

— Вырубать-то много будешь? — оживился Анатолий.

— Много. Молодняк в логу густой, мешает друг другу. Вот я лишнее и повырублю, чтобы тесноты не было. На день, на два работы. А то и поболее.

— Ясно, ясно, — понятливо качнул головой Анатолий. — Слышь, Кузьма, жердей мне на гараж не выделишь? Крышу хочу покрыть. Хорошие-то доски перевозить жалко. А жерди бы в самый раз. А, Кузьма?

— Нет, Натолый, ничо не выйдет, — поморщился тот. — Лесник зятю избу строит, все жерди ему пойдут. На заплот.

— Так все жерди и заберет себе? — не поверил Анатолий.

— Все. Ему много надо. Усадьба-то большая.

— Ну, а себе ты возьмешь жердей?

— Мне не надо, — помотал головой Кузьма. — Я не строюсь.

— А если бы надо было, взял бы? — наседал Анатолий.

— Взял бы. Как не взять, — хмыкнул Кузьма.

— А ты возьми себе, а отдашь мне, — посоветовал Анатолий. — Я в долгу не останусь.

— Тебе я не возьму, — заупрямился Кузьма.

— Почему?

— Не возьму, и все. Не желаю.

— Почему не желаешь?

— Не желаю, и все. — Кузьма, вдруг заулыбавшись,

хитро прищурился. — Ты вот, Натолый, даве спрашивал, пошто с медведями пить душевней...

— Ну, спрашивал, — сухо отозвался тот.

— Дак вот, я теперь скажу. Знаешь, пошто с медведями выпивать лучше, чем с тобой или вот с ним? — кивнул на Семена.

Анатолий отвернулся в сторону с едва приметной презрительной усмешкой, заранее пренебрегая теми словами, которые готовился услышать.

— Медведи опосля ничо не просят. Ни жердей, ни бревен, ни кого другого добра. Так-то вот, Натолый. — И довольно засмеялся, обнажив крупные желтые зубы.

— А ты наглеешь, Кузьма, — с задумчивостью сказал вдруг Анатолий, все так же глядя в сторону. Кожа на его щеках натянулась еще туже, стала гладкой и красной, словно накалилась на солнце. — Наглеешь, Кузьма. — Он повернул лицо и уже прямо смотрел в сизые, веселые глаза Кузьмы. — Давно-о я это за тобой замечаю... Давно-о... Да все терпел. А терпенье-то наше может кончиться. Гляди, Кузьма, как бы рога-то не обломали.

— А чо я такого сказал? — простодушно удивился Кузьма и беспомощно развел руки в сторону. — Чо ты на меня взъелся? Я только и сказал, что медведи ничо не просят. Разн не правда? Им на што жерди? У них берлога завсегда готовая. Под выворотень залез — и спи сколь хочешь.

— Ты говори, Кузьма, да не заговаривайся, — тихо продолжал Анатолий. — Так лучше будет и тебе, и нам.

— Дак рази я неправду сказал? — стоял на своем Кузьма.

— Правду, Кузьма, правду, — согласился Долгов. — Да только ты проспнись и завтра опять же ко мне и придешь. Попросишь выпить. После всего этого.

— Приду, — Кузьма покачался с закрытыми глаза-

ми. — Куда же я денусь, приду. И ты мне все равно подашь.

— А тебе не совестно будет просить у меня? Ты ведь оскорбил меня.

— А ты рази не подашь?

— А ты бы на моем месте подал? — жестко спрашивал Анатолий.

— Я на твое место становиться не хочу. С меня своего хватает... — Кузьма дышал тяжело, глаза его сами собой устало прикрывались, колени подкашивались. — Да, значит, не подашь, Натоллий? — И, не дождавшись ответа, сказал: — Тогда я вот к Семену пойду. Он мне подаст.

— А если и он — поворот от ворот? Тогда как?

— Ну и не надо. — Кузьма широко махнул рукой. — Пойду к другим мужикам. Вас ведь тут много. Это я оди. А вас — пруд пруди. Успевай только пить. На мой век вашего брата хватит.

— А что, как и другие не дадут? Что, если мы все договоримся? Тогда к кому ты пойдешь?

Кузьма задумался и хитро ухмыльнулся.

— А вы не сговоритесь.

— Почему это?

— Не сговоритесь, и все. Я вас насквозь вижу. Где вам... Ну ладно, пусть вы сговоритесь. Так и так, мол, не подавать Кузьме. А как приспичит, вы потихоньку, друг от друга тайком, ко мне и ходить станете. Друг от друга таяться будете, а придете. Да эдак вечерком, чтоб никто не видал. — Кузьма торжествующе засмеялся. — Да ты, Натоллий, первый ко мне придешь. Никуда не денешься. Так-то вот, Натоллий. Ты бы лучше мне не перечил. Молчал бы уж...

— Что с ним говорить, с пьяным, — сказал Анатолий внезапно легким голосом, снимая напряжение с лица. — Он всегда так. По пьянке напорет всякой ерунды, а

проспится — и снова человек. — И посмотрел на Кузьму уже новыми глазами. Не злыми, а сочувствующими, как глядят на больного. — Ну, хватит выступать, Кузьма! Хватит. Иди-ка лучше отдыхай.

— А чо ты меня гонишь? Сам позвал, а теперь гонишь. Не поглянулась правда-то?

— Я тебя не гоню. Я хочу как лучше. Поди, проспись.

Кузьма до этого дремал стоя, теперь вдруг широко раскрыл свои сизые влажные глаза и посмотрел на мужиков трезво, даже качаться перестал.

— А жердей-то я тебе, Натоллий, не дам, — сказал он и радостно рассмеялся. — Не дам, и все. Не желаю!

— Ладно, ладно. Завтра поговорим, — уговаривал его Анатолий и, подойдя вплотную, стал поворачивать лицом к воротам. Но Кузьма запротивился, в сердцах отбросил его руку.

— Не дам, хоть убей — не дам жердей, — говорил он, наслаждаясь своими словами, и вдруг, отступив на шаг, сказал: — А слышь, Натоллий... Вот ежели разрешишь раз в морду сунуть, то привезу. Полную телегу. Хошь, а?

Анатолий внимательно на него посмотрел, но ничего не сказал, как будто смысл предложенного не дошел до него.

— Дай, Натоллий, раз в морду суну. Я не больно. Суну раз, и все. Если хошь, две телеги привезу. Плевал я на лесника. Ему ничо не дам, а тебе привезу. Не обману. Вот он свидетель будет, — ткнул пальцем в Семена.

Анатолий беспомощно оглядывался по сторонам.

— Иди-иди, Кузьма, — свистящим шепотом произнес Анатолий. Он, казалось, давился своими словами. — Ты меня из терпения выведешь. Налил шары да и бродишь по дворам.

— Я не брожу, — качал головой Кузьма. — Ты меня сам позвал. Сам. Жердей попросить. Ты просто так не позовешь. Я тебя знаю... Дак слышь, Натоллий, дай сууи в морду-то. А ежели ты его стыдишься, — он опять кивнул на Семена, — то пушай отвернется...

Кузьма подступил к Анатолию, покачиваясь, готовился к чему-то и вдруг выбросил руку, пытаясь достать лицо Долгова, но тот поймал руку, дернул с силой, и Кузьма, потеряв равновесие, свалился в жухлую траву.

— Ты гляди... что делает... гад... — хрипел Анатолий, толчками выплевывая слова. Руки его дрожали.

Кузьма между тем поднялся, утер лицо рукавом пиджака и, улыбнувшись разбитыми губами, снова качнулся вперед, целя измазанным землей кулаком в лицо. Но не попал опять, потому что Анатолий вовремя увернулся, и снова Кузьма неловко ткнулся головой в траву.

— Сами виноваты, сами... Дали волю... Повадили, — судорожно хрипел Анатолий, цепко наблюдая прищуренными глазами, как ворочается Кузьма на желтой, изъеденной бензином траве, пытаясь встать. И едва Кузьма оторвался от земли, еще только покачивался на согнутых коленях, как Анатолий метнулся к нему и с остервенением, вкладывая долго сдерживаемую и наконец прорвавшуюся злость, толкнул Кузьму в спину, после чего надел на него сверху, не давая подняться.

Оцепенев от неожиданности, Семен глядел на барахтающихся мужиков. Он видел то скрюченные пальцы Кузьмы, выдирающие траву с корнями, то еще больше покрасневшее, будто спекшееся лицо Анатолия. Анатолий хватал руки Кузьмы, стараясь завернуть их за спину. Кузьма изворачивался, норовил достать противника кирзовым пыльным сапогом, пнуть его в живот,

но не мог, и стонал от бессилия. По его небритым щекам, размазывая грязь, катились слезы.

— Держи ноги! — крикнул Семену Долгов.

Семен не двигался.

— Бери за ноги, понесем к телеге! — снова крикнул Долгов. — Ну чего стоишь как столб? Кому говорю!

— Запалю... — тихо и жестко выговорил Кузьма, глотая слезы и давясь ими. — Запалю...

— Давай, берись. Быстро! Не видишь, он уже болтает бог знает что? Для него же лучше будет. Ну? — кричал Анатолий с побелевшими глазами. Семен наклонился, поймал пыльный сапог Кузьмы, но тот дрыгнул ногой и едва не угодил ему в лицо. Тогда Семен упал на ноги Кузьмы, подмял их под себя, и тот обмяк.

Неудобного и тяжелого, Кузьму подняли, поволокли к телеге, словно бревно. Кузьма, сопротивляясь, волочил сапогами по земле, цеплялся носками за выбоины и бугорки.

Семен вдруг уловил совсем не пьяный, а осмысленный взгляд Кузьмы, непонятное удовлетворение было в его лице. Семен хотел отвести глаза, но не смог.

— Ну чо, хозяин, — сказал Кузьма, шевельнув мятые, забитые землей губы. — Вот как вы меня любите. На ручках носите... — И такую ненависть увидел Семен в мокрых глазах Кузьмы, что под сердцем нехорошо кольнуло.

Конь повернул голову и умным карим глазом смотрел на плывущего на руках хозяина. Кузьму положили на телегу. Он уже не сопротивлялся и покорно смотрел в бледное, выгоревшее от жары небо.

Анатолий поднял с земли вожжи, покрутил их над головой, чмокнул губами, трогая коня с места, и бросил вожжи на Кузьму.

Конь дернулся, колеса скрипнули, телега покатила по дороге, постукивая ободами колес по черным, вы-

ползшим из земли корням деревьев, похожим на растопыренные натруженные пальцы.

— Понеслась душа в рай, — сказал Анатолий, переводя облегченно дух, и, посмотрев на Семена, добавил утешающе: — Ничего... Проспится — снова человеком будет.

Семен никак не отозвался, все глядел на черные, извивающиеся корни деревьев, кое-где разбитые колесами.

10

А жизнь шла.

Утром Семен вставал, завтракал и принимался за дело. Подходил обед — он обедал и опять работал до темна. Телевизор уже не смотрел, а сразу ложился спать и будто проваливался в сон, чтобы с утреннего пробуждения все начать сначала. Отпускные дни катились в работе, их трудно было отличить друг от друга, как воробьев, перепархивающих стаями из одного огорода в другой. Тихо и покойно шла жизнь, ничто ее не выбивало из наезженной колеи, так что Семену иногда даже казалось, что они с Ирандой живут в Залесихе много лет и нигде раньше не жили.

Иранда тоже понемногу успокоилась, стала мягче, добрее. О Петровне они, с молчаливого согласия, не вспоминали. Один раз только Иранда как бы в раздумье сказала:

— Что-то не видать бабку. Может, заболела, а может, кто передал ей про черемуху? Не идет.

Сказала она это спокойно, но в ее глазах Семен разглядел тайную тревогу.

Больше про бабку они не говорили, но Семен нет-нет да и поглядит в конец села. Не мелькнет ли там одинокий белый платок? Однако та не появлялась, будто ее и на свете не было.

Но однажды, влезая на крышу с ведерком краски, Семен посмотрел по привычке вниз, на улицу, на единственную залесихинскую улицу, и чуть ведерко из рук не выронил на голову Игорьку: «Петровна! Пришла-таки...»

Согнувшись, старуха медленно шла по деревне и смотрела по сторонам, как смотрит человек, попав в незнакомое место. Не узнавала своей Залесихи. Да и где ее узнать. Не было больше прежней Залесихи. Старые серые избы исчезли с ее улиц, будто новые дома их заглотили. Только у одного Кузьмы старый дом и остался.

С крыши хорошо было видно, как приглядывалась старуха не только к домам, но и к людям, и даже к собакам — ко всему, что ей попадалось на пути. Люди ей встречались все больше представительные, одетые ярко и красиво, как яркие и красивы были их дачи. Они прохаживались по улице и по своим огородам, довольные хорошей погодой и тишиной. И собаки в Залесихе были уже не те вислоухие, добродушные бобики, которых старуха знала тут раньше. Нет, новые люди развели новых собак. Высокие и прогонистые, ростом с доброго теленка, с тонкими хвостами-прутиками, и еще какие-то другие с короткими, приплюснутыми мордами, чернотубые, без хвостов, они по-хозяйски сновали по деревне, и столько было в них собачьего достоинства, что хоть дорогу им уступай.

Возле избы Кузьмы бегал диковинный, сизый, в белых яблоках, тонконогий кобель с тонким же, как хлыстик, хвостом. Вихляясь, он кружил возле элекрического столба и поминутно задира л ногу. Тут же, под окошком на завалинке, сидел и сам Кузьма. Побуревший от утренней выпивки, он лениво потягивал самокрутку и глядел на мир благодушно.

Старуха остановилась возле Кузьмы. Ей хотелось

поговорить с кем-нибудь, отвести душу, но незнакомых новых людей она стеснялась. А Кузьма был свой мужик, знавший ее, и она обрадовалась ему, как родному.

— Я гляжу, шерсть-то на ем лоснится. — обратилась она к Кузьме, кивая на кобеля невиданной здесь прежде породы. — Твой, чо ли?

Кузьма поглядел на кобеля, который все принюхивался к основанию столба, и, затоптав салогом самокрутку, презрительно сплюнул в сторону.

— На кой он мне такой. — И вдруг зло цыкнул: — А ну, шиед, тунеед! Расплодили вас тут, заразу!

— Гребешком их чешут, чо ли? — продолжала оживленно старуха. — До чего гладкие, прибранные.

— Гребешком... Да их, хошь знать, красным мылом моют. А уж потом гребешком расчесывают. Сколь раз сам видел на реке, — говорил Кузьма и презрительно сплевывал. — Да ишо они, эти собаки, не всякое мыло уважают, а только в красивой бумажке.

— Ить это подумать! Красным мылом? Собак-то? Да ты чо, Кузьма!

— Но-о, красным. Диколонят, чтобы псиной не пахли.

В это старуха поверить не могла, но вежливо качала головой, соглашалась. Ей, наверное, радостно слышать было деревенскую речь Кузьмы, по которой она, видно, истосковалась. Слушай сколько хочешь и говори как хочешь. Никто не поправит...

— Чо делается, чо делается... — говорила старуха и, отвернувшись от собаки, поглядела на взгорок. — Ну, а как тама новые-то хозяева? Отстроились уже?

Кузьма сразу поскучнел, полез за кисетом.

— Кто их знает... — похлопал по карманам, ища кисет. Горопливо пошел к себе в избу.

Петровна подождала его, подождала, но тот не показывался, и она двинулась по улице дальше.

Вскоре, затаившись на крыше, Семен уже слышал, как старуха гремела железным кольцом в воротах, справляясь с запором. Сейчас она войдет, и...

Вошла. Поискала глазами черемуху, но во дворе было необычно светло. На том месте, где черемухе быть положено, ничего не было. Старуха потерянно поискала глазами, словно дерево могло куда-то отлучиться, но разглядела наконец низкий пенек возле скамейки.

Ему она и поклонилась.

— Ну, видно и мне пора, — произнесла она со вздохом и пошла прочь, огибаясь ниже прежнего и с каждым шагом будто кланяясь земле. Она не видела ни торчащую посреди двора Ираиду, ни притихшего на крыше нового хозяина.

— Ну, вот и все, — сказала Ираида с облегчением, когда белый платок исчез за воротами. — Теперь хоть поспокойнее будет. Все нервы она мне измотала...

Семен никак не отозвался. Он тоже ждал, что придет облегчение, но оно отчего-то не приходило.

Вечером он снова сидел на скамейке. Было тихо, если не считать перестука топоров во всех концах деревни, но эти звуки были тут привычны, и Семен их не замечал. Под них хорошо думалось. Но потом, сбивая мысли, внизу загудела невидимая в сумерках машина, судя по звуку, грузовая. Она остановилась внизу, возле одного из новых домов. Послышался негромкий говор людей, которые стали сгружать что-то тяжелое, что именно — не разглядеть, потому что фары зажжены не были, мерцали лишь красные фонарики стоп-сигнала. Свет соседям, как видно, был совсем ни к чему. Семен понятливо усмехнулся.

За спиной скрипнула дверь. Узкая полоска света легла на землю, скользнула к огороду и там растаяла. Кто-то вышел из дому, и Семен по тяжелым, шаркающим шагам определил: жена.



— Отец-то у нас тут скучает, — сказала Ираида. — Игорек, иди сюда. Посидим с отцом.

Семен подвинулся, давая место жене и сыну.

— Там концерт передавали, — сказала Ираида. — Мы тебя звали. Не слышал, что ли?

— Не хотелось, — ответил Семен.

— Ну и зря. Концерт хороший был.

— Пусть, — проговорил равнодушно Семен и вдруг повернулся к сыну. — Игорек, — сказал он задумчиво. — Гитара у тебя здесь?

— Здесь, — отозвался недоуменно.

— Сыграл бы ты что-нибудь. Я ведь еще и не слышал, как ты играешь. А, Игорек?

— Сыграй, — подталкивала сына Ираида. — Пусть отец послушает. А то он думает, что все это — баловство.

— Да ну, мам, — упрямылся тот, но упрямылся только для вида. Он пошел в дом и вернулся оттуда с гитарой. Отец с матерью посадили его в середину. Игорек быстро прошелся по струнам, разминая пальцы, и шумно перевел дух, глядя вверх, в темное небо.

— Ну, что сыграть? — спросил он.

— Не знаю, — отозвался Семен. — Что-нибудь душевное.

Игорек помолчал, вспоминая что-то, и едва тронул струны. Подождал, пока так же тихо и бережно отзовутся звуки, и вдруг запел негромко, подрагивающим, как бы только нащупывающим песню голосом:

— Мату-у-у-ушка, что во поле пы-ы-ыльна-а...

Семен вздрогнул и поднял голову. Он с боязнью ждал, когда сын запоет. Ему почему-то вспомнились такие же нестриженные, похожие на Игорька парни с магнитофонами в руках. Их он видел и на улицах, и в электричке. Они на всю мощь включали свои магнитофоны, из которых вырывались обычно заунывные, тя-

гучие, с подвыванием песни. Трудно было узнать: русские они, немецкие или еще какие. Этого Семен боялся.

А запел Игорек старинную русскую. Где он ее слышал, и почему она запала ему в душу? И каким чутьем удалось угадать сыну ту единственную струнку, запрятанную так глубоко, что и самому неведомо, на которую сладко и тревожно отзовется сердце? Что же ты такое, Игорек?

— Кони разыгра... разыгра-а-а-ались...

Голос Игорька осмелел, окреп, потому что он видел, как вздрогнул и напрягся отец, почувствовал, что песня связала их, и пел легко и чисто.

Семен вдруг ощутил, что эта не слышанная им прежде песня всегда была в нем, и она родна не только ему, но и старой избе, темным лугам, дремлющему на взгорье лесу, всему, что их сейчас окружало. Вот, оказывается, что у сына есть: песня. В домах он может жить в разных, но в нужный час эта песня в нем отзовется...

Игорек потом играл еще что-то, но Семен уже слабо воспринимал, глядел в темное заречье, и ему было легко и спокойно.

Скоро Игорек ушел, а Ираида осталась, сидела молча. Потом спросила тихо:

— О чем ты думаешь?

— О разном, — неохотно отозвался Семен.

Она вздохнула.

— Палец саднит.

— Помажь чем-нибудь.

— Мазала. Не помогает.

— Слышь, Ира, — задумчиво проговорил Семен. — Ты не знаешь, отчего так? Вот, к примеру, лук и морковь из одной земли соки сосут, а такие разные?

— Хочешь сказать, что ты — морковь, а я — лук?

— Нет, я тоже не морковь, — покачал головой Семен. — Я сам не знаю, что я такое.

Она слабо, отрешенно усмехнулась. Казалось, жена только вполуха слышит его и что занята она совсем другим.

— Семен, — позвала она внезапно дрогнувшим голосом. — Контроль у нас был в торге... — И замолчала, не глядя на мужа, ожидая, что он сам поймет недосказанное.

Он быстро повернулся к ней, пристально всматриваясь в белеющее рядом лицо жены.

— Стукнул кто-то про долговский гарнитур, — выложила она то, о чем Семен и сам догадался.

«Вот оно!» — обожгла его дальняя, прятанная до этого мысль. Давно он знал, что не только добро отзывается добром, но и всякое зло оборачивается злом. Не зря в последние дни, затаившись в предчувствии, он ждал, что обязательно с ними случится какая-то беда. Большая или маленькая, но придет к ним неотвратно, потому что так уж в мире создано: ничего не исчезает бесследно, на все приходит такой отзыв, какой заслужил...

Выгонят жену с работы, осрамят. Худо, конечно, хорошего мало, но ведь не пропадут же они после этого. Устроится Иранда на другое место. Пусть оно будет похуже, но все-таки устроится, без работы не останется. Рану эту они со временем зализжут, только дай бог, чтобы на этом все и кончилось. Да только, наверное, не кончится. Главная-то беда, видно, не эта...

Семен судорожно перевел дыхание и поднялся.

— Ты куда? — с тревогой спросила Иранда, что-то странное уловив в резком движении мужа.

— Да надо... — сказал он первое, что пришло в голову. Он и сам еще толком не знал, почему резко поднялся со скамейки. Но раз сделал так, значит, надо.

Значит, что-то велело ему подняться и подняться именно так, а не иначе. И уж только потом запоздавшая мысль пояснила, что ему надо куда-то идти, что-то делать и вообще двигаться.

Он посмотрел вокруг, будто прикидывая на глаз, куда идти, что делать. Над темной зубчатой стеной леса за воротами висели крупные спелые звезды. Синий мертвый свет шел от луны, влил в душу тоску и холод. Огоньки домов мерцали внизу неярко, приглушено — там готовились ко сну. Внизу лениво лаяла собака, да еще кто-то колотил топором в конце села — дня не хватило.

Ищущий взгляд Семена нашел освещенное окно за забором. Там, растушеванные занавесками, маячили расплывчатые тени соседей. Вот кому хорошо и легко — Долговым. Гоняют себе чай — и никаких забот. И вдруг Семену подумалось, что посмотрел он к соседям не только потому, что глаза нашли в темноте яркий свет и остановились на нем. Нет, давно он подспудно думает о Долговых. Непонятная сила подталкивает думать о них.

Он несколько раз глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха, и, решаясь, шагнул к забору, разделявшему две усадьбы, долговскую и его.

Иранда проследила за ним и встревоженно поднялась.

— Семен, ты куда?

— Да вот с соседом охота потолковать, — хрипловато сказал Семен и кивнул на светлые окна.

— Зачем он тебе? Ночью-то?

— Соскучился. Боюсь, дня не дождусь...

— Перестань, слышишь! Перестань! Не связывайся!

— А я и не связываюсь. Я, может, наоборот, развязаться хочу! — Семен уцепился руками за островежные, крепкие штакетины, злобно потрянул соседский забор.

— Эй, Анатолий! — крикнул он. — Толька! — и обрадовался найденному слову. Толька и есть, больше никто. — Выходи, Толька!

— Брось, Семен, брось, — подскочила сзади и тянула его от забора Иранда, но тот вцепился в штакетины крепко, оторвать его было нельзя, и завороченно смотрел на соседское окно, ожидая, когда там отзовутся.

В окне качнулась занавеска, кто-то выглянул. Семен не разобрал, кто именно. Потом глухо хлопнула дверь, вспыхнул свет на веранде, и в светлом квадрате перед домом обозначился Анатолий. Со свету он ничего не видел, бестолково вертел головой по сторонам.

— Ну, привет! — удовлетворенно сказал Семен, и тот повернулся на голос. Некоторое время он вглядывался в темнеющую у забора фигуру и медленно, настороженно приблизился.

— Это ты, Семен, что ли?

— Я, — ответил Семен.

— Чего шумишь?

— Да вот поговорить захотелось.

— А чего ночью-то приспичило? Дня не хватило?

— Не хватило. Сильно поговорить захотелось, — сдерживаясь, цедил Семен. — Так захотелось, что мочи нет. До утра не доживу, если не поговорю с тобой.

— Выпил? — спросил тот со спокойной усмешкой трезвого человека, и в его голосе сквозило превосходство и снисходительное терпение, как у трезвого перед выпившим.

— Да нет, не выпил, — держал себя Семен, и только голос выдавал: подрагивал. — У тебя на усадьбе барахла всякого навалом... За покупкой я, Долгов. Задумал душу твою купить. Сколько запросишь?

Иранда уже не просто тянула Семена от забора — колотила острыми кулаками в спину, но тот ничего не чувствовал — ни кулаков, ни ее слов.

— Душу, говоришь? — хмыкнул сосед. — А чего ты решил покупать? Своей хватать не стало?

— Не стало, Толька, не стало! Потому и покупаю. Продай, а?

— Ты вот что: иди-ка проспись, — холодно посоветовал Долгов, озираясь по сторонам, не слышит ли кто. — Иди отдыхай...

— Нет, спать я не пойду. Я сам спать не буду и тебе не дам. Я через тебя нечеловеком стал! — вырвалось у Семена.

— Ты гляди, он через меня нечеловеком стал! — коротко, зло хохотнул сосед. До этого голос у него был плоский, неживой, словно бы еще ничем не наполненный, теперь же стал колючий, как напильник. — Ты погляди, какой он чистенький. Прямо завидно. Воды не замутит. А вон Петровну заглотил и не поперхнулся, чистенький... Сам напролом пер, как бульдозер, а туда же... Совратили его! Вы поглядите на этого малолетку! — Он уже определился в споре, успокоился и потому выбирал слова побольнее. — Да ты сам давно ждал, когда тебя совратят! Ты уж давно готовый был, только случай не подворачивался. Кто к кому на дачу напросился? Я к тебе или ты ко мне? Ты ко мне! Так чего ты от меня хочешь?

— Знаю, чего хочу. — Семен уже задыхался. Ему мешал забор. Он с силой потянул на себя штакетины, но забор был долговский, крепкий, на все случаи жизни, в том числе и на этот.

Позади Анатолия послышался шелест сухой травы: подходила Галина. Раньше она, судя по всему, стояла у двери веранды, слушала в тени, теперь решила и сама войти в спор.

— Слышала? — обернулся к ней Анатолий. — Сосед-то наш жалуется. Говорит, совратили мы его.

— Как это? — спросила Галина с показной непонят-

ливостью, хотя весь разговор слышала. — Кто его совратил?

— Мы! — громко смеялся Анатолий, чувствуя поддержку, и когда снова повернулся к Семену, то не только видом был уже сильнее, даже голос подновился: — Он еще пожалуется на заводе за это! Расскажет, что я ему доски вывозил!

— Да пусть говорит, пусть! Ты вез-то кому? Ему вез. Вот его же самого и турнут. Ты — работяга, с тебя немного возьмут, а он — бригадир. Хорош бригадир. Работяга его совратил!

Долговы смеялись, на разные лады повторяя слово «совратили», поворачивая это слово перед Семеном всеми обидными сторонами, а самое горькое было то, что ему самому уже и сказать было нечего. Весь он выплеснулся. Да и что теперь скажешь? Правы Долговы: сам напросился к ним в соседи. Дал когда-то слабянку, вот она и завела...

Прибежал Игорек, и теперь они с матерью стояли чуть поодаль от Семена, молча выжидали конца.

— Ну и соседа мы себе взяли под бок, — говорила нараспев Галина. В скандал она вступила поздно и теперь торопилась наверстать упущенное. — Пригрели змею за пазухой. На машине возили как доброго. Ишь ты! Когда помогали строиться — он молчал. Все хорошо было. А теперь конечно... Отбухал домину, и сразу мы плохие стали... Нашим салом да по нашим и мусалам.

— Ага, — с живостью откликнулся Анатолий, подменяя жену. — И к дяде Гоше подлез. Путевку в садик выманил, тот и пикнуть не успел. А теперь рассовестился. Виноватых ищет. Хитер, ничего не скажешь. А с виду тихий.

— Да в тихом-то омуте, сам знаешь... — подсказывала Галина.

Иранда, которая все это время молча стояла за спиной и в разговор не вступала, сказала раздраженно: — Уйди, Семен. Не позорься. Слышишь?

Семен обернулся к ней.

— Тебе за меня стыдно? — спросил он надсаженным голосом. — Может, и ты примешься меня стыдить?

— Сам дурак, дак думаешь все такие? — кричала из-за забора Галина. — Жену-то хоть не срами. Поди, готова под землю провалиться от стыда.

— Перестань, Семен. Уйди, — с болью говорила Иранда.

— Не-ет, — отрешенно крутил головой Семен. — Не уйду... — И опять повернулся к соседям. — Значит, ты, Толька, ничего не боишься? — спросил затаенно.

— А чего мне бояться? — легким голосом отвечал тот. — Я никого не убил, не ограбил. Живу тихо-мирно.

— Это ты точно говоришь, — вдруг согласился Семен. — Ты никого не убил, не ограбил. Не-ет, с такими, как ты, не так надо. Словами вас не возьмешь. Вы их умеете по-своему выворачивать. Для своей выгоды... — Семен помолчал, переводя дух для самого главного. — Ты знаешь, Толька, что я сейчас сделаю? — начал он и не докончил, захлебнулся, давясь словами, рвавшимися из горла. — Я вот что сделаю... Пушу я красного петуха. Понял? — И засмеялся тихим, дребезжащим смехом.

Семен оттолкнулся от забора и легко, невесомо, будто он не шел по земле, а летел по воздуху, миновал застывших столбами жену и сына, вскочил в новый дом, где на не крашенном еще полу стояли банки с краской, бутылки растворителя и железная канистра с керосином, которым он мыл малярные кисти.

Мимоходом он перевернул ведро с лаком. Оно загремело, покатилося, резкий запах ударил в нос, но это для Семена уже не имело никакого значения. В доме

было темно: туда еще не успели подвести свет. Он отыскал невидимую в темноте прислоненную к стене канистру: вот она! Ему оставалось лишь опустить руку и нащупать прохладный металл канистры, нетерпеливо и сыто булькнувшей керосином.

На обратном пути Семен поскользнулся на залитом лаком полу и чуть не упал, а ница опоры, распаралал руку о гвоздь, вбитый возле двери для вешалки. Его озарила мысль, что сам дом, построенный его руками, каждой плахой в полу, каждым гвоздем, вбитым в стену, удерживал хозяина, предостерегал от непоправимого. Острая боль в руке отозвалась болью в груди, но остановить себя Семен уже не мог. Боль быстро погасла, затерялась, и тот неведомый поводырь, который без ошибки указал на канистру, вывел Семена из дому и повел туда, откуда он пришел: к забору, разделявшему две усадьбы.

Он уже видел светлые окна веранды Долговых, светящиеся, как показалось, ярче, чем раньше, и как бы специально указывающие ему путь, чтобы не сбился в сторону, а шел прямо к ним. Он видел перед собой четкую тень забора, который совсем не надо раскачивать, как это он делал раньше, а просто выбить штакетины ударом ноги и пройти к соседям... Силы в себе Семен чувствовал огромные, казалось никто не остановит. Но приблизиться к забору ему не дали. Сбоку метнулась Иранда, повисла всей тяжестью на его руке с канистрой, крича что-то страшным, незнакомым голосом.

Семен молча переложил канистру из одной руки в другую, свободную, и сильно толкнул жену плечом. Она выпустила его руку, упала, заходясь надрывным плачем, чего никогда еще от жены Семен не слышал, но не оглянувшись, а освобожденно двинулся дальше.

— Игорек! Игорек! — отчаянно звала Иранда за

спиной, звала снизу и глухо, как бы из самой земли.

Она поднялась и снова забежала, опередив, повисая на муже, и снова он легко стряхнул ее с себя. Он видел перед собой только призывно горящие окна соседской веранды — ничего, кроме света, к которому шел. И когда быстрая, живая тень опять заслонила свет, он непроизвольно протянул руку, чтобы отстранить эту вставшую перед ним тень, убрать с пути, но что-то неуловимое метнулось ему навстречу, прошло мимо руки, обняло за шею, и он ощутил на своем лице теплое дыхание сына.

— Не надо, отец. Давай лучше я...

— Уйди, Игорек, — прошептал Семен.

— Нет, отец. Если хочешь, давай я сделаю.

Подскокнула опомнившаяся Иранда, вырвала канистру из ослабевших пальцев мужа, убежала во тьму. Семен послушал, как булькает, удаляясь, керосин в канистре, и медленно опустился на землю.

— Вот псих, вот псих! — кричал из-за забора оживший Анатолий. — Связать бы его надо. А то он тут творит — не расхлебаете.

— Ненормальный и есть ненормальный, — причитала следом Галина. — Жили тихо, спокойно, и — на тебе. Навязался на нашу голову. Вот теперь и бойся...

Соседи, минуту назад задавленные страхом, безязыкие, теперь опомнились, отплачивали за пережитое, чем могли, и Игорек, который стоял возле сидящего отца, качнулся к забору.

— Уйдите, дядька Анатолий, — громким, срывающимся голосом попросил он. — Уйдите по-хорошему!

— Ты гляди, он еще грозит! — усмехнулся Долгов.

— Ага, воспитал сыночка. Такой же будет, — откликнулась Галина, но они все же отошли от забора и, постояв еще немного, отправились в дом, где сразу же погасили свет, чтобы наблюдать из темноты.

Семен неловко сидел на земле, упершись ладонями во влажную, привявшую росу траву.

— Ну, все? Перебесился? — услышал он голос жены. Говорила она не зло, а с мягким, мирным укором. — Вставай, простынешь.

Семен поднялся и, поддерживаемый сыном, потихоньку пошел в дом. У дверей обернулся на соседскую усадьбу и замер. Над крышей затаившегося дома Долговых вдруг полыхнуло красное пламя и, оторвавшись, став прозрачным, как дымка, ушло в небо, где и растаяло. Семену показалось, что у него остановилось сердце. Он поглядел на сына, но тот был спокоен, ничего не видел.

Когда Семен снова глянул вверх, то никакого пламени в небе уже не было. Небо просветлело, будто приоткрывшись. В нем мерцали только звезды, яркие, по-осеннему спелые. Казалось, они тихонько позванивали, отчего над Залесихой стоял чистый и тонкий, тоже словно мерцающий тревожный звон.

## РАССКАЗЫ



## ВАССОКАВЫ



## ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ



После смены леспромхозовский столяр Василий Атысов, мужик сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктовом бутылку белой. Было это так неожиданно, что женщины, толпившиеся у прилавка, переглянулись и покачали головами, а мужики, которым непьющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух: что же такое случилось с Атысовым, что и его наконец-то прорвало? И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь.

Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разглядел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребсоюза, Сережку она с утра уводит к теще, чтобы не слонялся с мальчишками, а приучался бы помогать в хозяйстве.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хотел было идти дальше, но вдруг будто уколелся: из смежного двора, отодвинув сломанную штакетину, на него глядела соседка Федоровна. Встала в пролом, будто в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и глазела, недоумевала, видно, куда это подался Атысов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выставил острую морду нелюдимый старухин пес, будто и ему интересно.

Федоровну еще называли Золотой Рыбкой. Появилась на селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтовиков.

По доброте ли своей, или оттого, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех гаданий обычно оказывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, а Федоровна заняла чью-то брошенную избушку и осталась в ней. Желающих погадать становилось год от года меньше, а потом в сельсовете старуху принудили выселением, и она поутихла. Был у старухи черный трехлапый пес, который неотвязной тенью ходил за нею, и она запрягала его в тележку или в санки, чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя повозку в две силы — человечью и собачью, мужики отчего-то смущались и отворачивались. Однажды и Василий видел, как черный кобель, натужно упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку дров. Федоровна подталкивала воз сзади жердиной и не помогала, а только мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как раз против окон Атясовых, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не так скользко было, черный кобель совсем выбился из сил. Он лег и хватал снег горячим ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую шерсть на судорожно вздымающихся боках, говорила что-то утешающее, ласковое.

Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь, но кобель, не поднимаясь, с таким остервенением на него зарычал, что Василий ступешевался и ушел с досадой. Теперь, видя, с каким интересом смотрит на него старуха из-за забора, поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — подумал Атясов в сердцах и, потоптавшись, все же пошел от дома в конец села, и на душе у него было нехорошо, будто уличили его в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной, зубчатой стеной леса, напоминающего перевернутую вверх зубьями пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто здесь ничего не сажал, не сеял, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты брали на борт нескольких пассажиров и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой вертолетик лесной противопожарной службы. Летчики-наблюдатели заправляли баки горючим, обедали в дешевой леспромхозовской столовой и летели снова кружить над тайгой.

Специальных строений на аэродроме не было. Под навесом, сколоченным из горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, стоял дом пожилого мужика Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на поле, прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты. К нему-то и шел Василий, покусывая сухую былинку, слушая, как пошвыстывает о голенища сапог жухлая трава и удивляясь: вчера еще вроде поле молодо зеленело, а вот уж укатилась весна и лето на исходе. Как все-таки незаметно приходит одно за другим, и от этой быстротечности тоска ложится на душу.

Тимофей во дворе насаживал лопату на новый черенок. Увидел Василия — замер с занесенным для удара топором, постоял так, раздумывая, ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, чо ли? — спросил он с некоторым удивлением, заметив, чем оттянут карман столяра.



— Я, — сказал Василий с неловкостью. — Зашел вот...

— А я тут лопату подновляю. Картошку скоро копать.

— Ну так работай. Я подожду.

— То ли ее завтра копать, картошку-то, — улыбнулся Тимофей.

Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то неотесанные, костлявые. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые обветренные щеки. Прорезь рта неожиданна, и от самых его краев начиналась колючая, как стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимофея лицо, а улыбка — детская, беззащитная. Даже странно ее видеть на таком каменно-твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей и по привычке отряхнул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках были брезентовые рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки двупалы, как верхонки. Есть только большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься наподобие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой создан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. Благо, и верхонки на руках.

Вошел в чистую горницу. Василий снял у порога сапоги, чтобы не натоптать, и пройдя к столу, выставил уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя, Василий, — сказал Тимофей в некотором замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну нельзя, так и не надо, — не очень расстроился гость. — Тогда просто посидим. Поговорить надо.

— Зачем просто? Чаю подогрею.

Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.

— Ну как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебывая чай и собираясь с мыслями.

— Идет вроде...

— Вертолеты, значит, летают?

— Летают, куда им деваться.

Василий вздохнул, повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно смешно, а ты не смейся. Тут дело вот какое... Вертолет мне охота сделать...

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?

— Так... Сделать вертолет. Маленький, конечно, на одного. Полетать над полем, над лесом. — Василий поднял ладонь и повел ее над головой, показывая, как бы он полетел.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:

— Не полетит.

— Почему? — Василий опустил руку на стол. — Думаешь, не смогу? У меня хоть грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. Вот, скажем, надо раму сделать. Я на нее поглядел... — Василий повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул указательным пальцем по лбу. — Хочешь, я тебе размеры сейчас на бумажке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим?

— Так это рама, — усмехнулся Тимофей беззубым ртом.

— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в ка-

бину, и хорош. Сделаю. Я уж кое-какие журнальчики нашел, там про вертолеты все сказано. Мне на живой теперь надо поглядеть.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Не фабричный будет, потому и не полетит. Это, парень, вертолет... Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и повторил: — Управлюсь.

— А потом я слышал, будто нельзя самодельные-то, — продолжал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ём в Америку, поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?

— Кто тебя знает. Сведения передашь.

— Какие сведения?

— Какие бывают сведения...

— Ты зря так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался щербатым ртом.

— Да это я так... Шучу... — И, видя, что гость обиделся, спросил сочувственно: — И давно это у тебя?

— Да нет. Недавно, — суховаато отозвался Василий.

— Может, с детства метил в летчики?

— Да нет. Не метил. В армии насмотрелся разных самолетов-вертолетов — и ничего. А тут вдруг накапало — спасу нет.

— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет да слетай в райцентр и назад. Чтобы зуд-то прошел.

— Я пассажиром не хочу.

— Вот беда, — опечалился Тимофей и, помолчав,

спросил: — Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?

— Не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Тебе, говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. Вот и начал я столярничать. Не пропадать же инструменту, да и матери помогать надо было.

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному...

— Ну а в среднем?

— Где-то за двести.

— Во! — поднял Тимофей негнушийся палец. — Да еще калымишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?

— Дает.

— Вот он, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта, как ее... династия будет. За это нынче хвалят.

— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.

— Ну. Сыну своему.

— А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроется? — Василий помотал головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан к машинам потянется, а я его в столяры... Династия... — Василий криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе сидит. Вроде как... наследственность. Я читал в газетке.

— А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий. — Самолеты давно ли появились? Или Гагарина возьми. Кто у него в космос летал, отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Ну и смейся,

ведь смешно, Наследственность... Нет, что ни говори, а я несогласный. Потянется Серега к другому делу, перечесть не стану. Инструмент в печку брошу, гори он огнем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому хочешь согдится. Лучше продать.

Василий улыбнулся.

— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в третий пойдет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо.

— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй выбрось. Жена тебе так выбросит, бедный станешь.

— Это точно, — согласился Василий. — У нас и дом от делов инструмента, и обстановка от него, и сыты и одеты, слава богу, не хуже других. Все у нас на нем держится. Варя это знает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня отчитала. Потому что лишняя тряпка — от рубанка. А одеваться она любит. Страсть прямо. Мне вот все равно, в чем я. Есть чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на складе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не кушит.

— Баба... У них свое, — отозвался Тимофей. — Только хуже нет, когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и ничего. Для дома достанет и то и другое. Уж торгаши себя-то завсегда обеспечат. Это дело известное. А с другой стороны... Товаров видит много, глаза и разбегаются... Не видала бы — так лучше, а тут умри, а купи. Не кунить — сразу мужик плохой, мало зарабатывает. Да разве на все ее прихоти зарабатываешь? Я через это и разошелся. И лучше. Никто не дергает. Ты, парень, укорачивай свою-то. Эт-то в селе встренулась, так и не поздоровалась. Где ей, такой

разодетой, с каким-то мужиком здороваться? От тряпок вся ихняя гордость. Укорачивай ее. Миллионер, мол, я ли, чо ли? Мало ли чего на складе не лежит. Всего не купишь. Другим оставь.

— А-а, пускай, — махнул рукой Василий и насутился. — Пусть одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей. Накатилось — веришь, спасу нет. Уж и снится стало, будто лечу над этим полем, над лесом. И так мне хорошо, так сладко, душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Чо с тобой делать-то... — раздумчиво проговорил Тимофей и долго смотрел на Василия молча, потом сказал: — Ну дак смастери себе вертолет, раз уж так приперло. Вот пожарники прилетят, подпущу тебя к машине. Гляди, шут с тобой.

— Вот за это спасибо, — повеселел Василий. — Я знал, Тимофей, что ты хороший человек, Потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший... А насчет механики проси Мишку, племяша.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. Маленький мужичонко, шустрый такой, глаза пронырливые.

— А что, Мишка, слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уловив в лице столяра раздумье. — Он хоть и закладывает, а в моторах шибко понимает.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого помощника, ему, пожалуй, не найти. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу.

Но Тимофей уже прислушивался к чему-то другому. Василий глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле перечеркнула бесшумная тень вертолета, и только после этого услышал рокот мотора, неожиданный и сильный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей,

поднимаясь. — Ты посиди покаместь тут, а как летчики уйдут, так и приходи. А то они не любят, когда трется посторонние.

В окно Василий видел, как двое летчиков, невысокие, похожие друг на друга, может потому, что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатанными рукавами, и на головах у обоих одинаковые форменные фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему и двинулись в село.

Когда Василий вышел, Тимофей, как часовой, прохаживаясь возле вертолета.

— Гляди сколь взлетит, — разрешил он.

Вертолетик был маленький. Василий измерил его длину от носа до хвостового винта рулеткой и, сощурившись, пристально разглядывал лопасти основного винта и крошечные, словно игрушечные, колесики — пытался запомнить машину во всех подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул в кабину, рассматривая ручки управления и многочисленные приборы.

— Тут без поллитры не разберешься, — хохотнул Тимофей.

— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как, — попросил Василий робко.

Но Тимофей сразу же затвердел лицом:

— Глядеть — гляди, а руки, паря, придержи. Нигде ими не касайся.

— Да я же не съем.

— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю и вовсе глядеть не разрешу.

Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опускался на колени, изучая машину снизу, осматривая еще и еще спереди, с боков, до тех пор, пока не услышал молодой, насмешливый голос:

— Эт-то что тут за комиссия?

Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, оправдываясь, заторопился:

— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет хочет изладить. Только смотрит. А руками нигде не касался.

— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернувшись к Василию, потребовал:

— А ну, покажи руки!

Василий с готовностью протянул ладони.

Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.

— Значит, вертолет хочешь? Ну дает! А «Москвич» не хочешь? Или «Жигули»?

— Не хочу.

Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.

Потом один из летчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, щелкал другой, нажимал на педали.

— Ну, понял?

— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять терпением занятых людей.

— Тогда от винта!

Летчики уместились на сиденьях, захлопнули дверцу. Сквозь стекло было видно, как они весело переговаривались, посматривая на Василия. И вдруг по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала медленно, будто неуверенно кругнулись и слились в сплошной сверкающий круг, подминая траву тутним ветром.

Вертолет качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу, и вдруг пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на

солнце зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в поднебесье.

— Как стрекозка, — задумчиво сказал Василий, не в силах оторвать глаз от неба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал воздух.

— Пошли, — тянул его за рукав Тимофей, потому что к ним из избы уже шел Мишка.

— Вы чо это бутылку беспризорной оставляете? — спрашивал Мишка улыбочиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.

— Как это? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький росточком, даже удивительно было, что он — родственник рослому Тимофею.

Узнав про желание столяра, Мишка загорелся:

— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем ларьке выпить нету, взял и слетал в райцентр. Там-то за-всегда. Так что мотор я тебе сделаю. Это мертво!

— У меня еще и мотора нет, — признался Василий.

— Как нет? — Мишка сплюнул, растер плевком носком стоптанного ботинка, задумался и снова встре-пулся: — Стоп, Вася, с тебя пузырек. Будет мотор. — И, оглянувшись, будто их мог кто услышать, зашеп-тал: — В заготовленные старые аэросани есть. На сосну налетели ночью по пьянке. Сани-то угробили, понятно, а мотор — целый. Он сзади, что ему делается!

— А отдадут они его? — усомнился Василий.

— Отдадут-ут! — лихорадило Мишку. — Главное со Степановым, с ихним начальником, договориться. Мы к нему вместе пойдем, потому что тебя одного он де-лает как хочет. А со мной — не-ет... Я его как облуп-ленного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка сжал кулак, показывая, где у него Степанов. — Мы его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не грешн. А мотор — само то. Одно добро.

— Во чо делает! — восхитился Тимофей, глядя на своего племянника. — На живом месте дыру вертит. Не пил бы, большим человеком был бы. Может, даже завгаром.

В просторном деревянном доме, куда привел Мишка Василия, сидела за канцелярским столом девица, пере-кидывала костяшки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, знай» и «Охотник, помни». Вдоль стен стояли тяжелые ска-мейки, известка над ними дочерна вытерта спинами посетителей.

Мишка дурашливо облапал девицу сзади.

— Здоровы были!

Девица презрительно повела на него длинными рес-ницами, на которых дрожали кусочки туши, равнодуш-но освободилась от его рук и снова принялась за свое дело.

— Начальство у себя?

Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа.

Подмигнул Василию, потащил к другой комнате, дверь в которую была обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался на улице, но знаком не был и потому не здоровался. Сейчас ему было неудобно. Степанов — мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чу-дом сохранил густые, до того пышные и густые, что они казались чужими на его лице. Он подал руку Василию, кивнул на стул. На Мишку он даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков, по-тому что крутить вокруг да около не любил и не

умел. — У вас, говорят, ненужный мотор есть. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.

— Да есть такие...

Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, какие-то очень уж зоркие, такие, кажется, человека насквозь видят.

На Мишку он посмотрел остро из-под своих бровей, и тот беспокойно заерзал на стуле.

— Ненужного не держим, — проговорил Степанов. — У нас все только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. Ведь на них сто лет никто не ездит!

— Сейчас не ездим, а отремонтируем и будем.

— Да чо там ремонтировать? Дешевле новые...

— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Это мы уж сами разберемся, что с ними делать.

Василий, проклиная в душе Мишку, поднялся виновато.

— Ну, нет так нет. Извините, если что...

— Ничего, ничего... — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся со своего стула, прислонился к подоконнику. Смотрел на Василия без злости и недовольства. С интересом смотрел. — А зачем вам, если не секрет, этот мотор? Вы ведь, кажется, столяр, не охотник. Это охотникам сани для промысла нужны. А вам?

Василий замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:

— Ему на глассер надо. По речке плавать!

Василий густо покраснел. Речка по селу протекала каменистая, мелкая. Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол провалиться.

Степанов неопределенно покачал лысиной, но в

подробности плавания по речке на глассере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес был в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно. — Сломанные. Все исправить никак не соберемся. Времени нет. То одно, то другое. Сейчас отлов соболей на носу. План большой, а у нас клеток мало. Вот если бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились нам сделать с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя на него промысловики давно зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семечки. Сколь надо, столь и делает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он знал, что за клетку платят по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то за них никто и не берется. Но это другие не берутся, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Такого мотора больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.

Степанов позвал девушку из приемной, и она выписала тут же две бумажки. В одной Василий расписался в получении пятидесяти рублей аванса за клетки, в другой за то, что внес эти деньги в кассу заготовщины в счет мотора.

Василий вышел на улицу в большой растерянности, не зная, радоваться или огорчаться.

— Да чо ты кислый такой! — горячо шептал Мишка. — Все нормально. Отдадут тебе мотор по дешевке. Видал, как мы Степанова прижали? Уж я-то его знаю как облупленного. — Помолчал, силянул под ноги, поинтересовался: — Тебе колеса какие нужны? От мотороллера?

— Вроде бы.

— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение? Только тройка надо. Без этого сам понимаешь...

Василий дал три рубля и пошел прочь.

От природы Атясов был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с просьбами, но тут, хочешь не хочешь, пришлось ходить к знакомым и незнакомым людям, кляничить то одно, то другое. Противно, а иначе нельзя. Надо фанеры толстой и тонкой, надо клею хорошего, да мало ли еще чего надо. Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым пропеллером на валу, спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал потрепанные колеса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов деньги за мотор сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил двести пятьдесят, остальные внес раньше, когда получил за клетки, но это не утешало. Колеса тоже недешево обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Последние рубли на бутылки разменял: тому надо поставить, другому, третьему. Нигде на сухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как совместно перед Варей. Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спроса, тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату всегда отдавал до копейки, приработок тоже отдавал, не припрятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем припрятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст.

Вздыхнул Василий, мысленно повинился перед женой.

Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его начальство послало подремонтировать окна и двери. Ва-

силий только вернулся из армии, носил солдатское, был весел и свеж лицом. И работал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, тарашились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, среди других, была и Варя. На столыра она игриво не поглядывала, но, даже опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:

— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.

— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.

— Может, костюм желаешь? На складе есть импортные.

— И с костюмом погожу.

— Ну тогда выбирай невесту. Любую отладим бесплатно. — И сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.

И Василий посмотрел на Варю.

Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой осязаемый, будто бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие, что Василий задохнулся от предчувствия.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней, и она этому не удивилась.

Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установилась санная дорога, сказал ей: «Зачем нам время переводить на гулянья? Пока снег неглубокий,

самая пора бревна подвести. Давай-ка поженемся и начнем дом строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не промах — загодя копила, так что строиться было на что. Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое, и родители Вари предложили молодым пожить пока у них, однако Варя наотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избушке: не только в пляске разгуляться — сесть негде. Но молодожены не горевали, только посмеивались: «Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах прием».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с санями, привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не как-нибудь, сразу на пятистенок замахнулся.

Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, пришли товарищи по работе и помогли возвести стены и поднять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, который словно заглотил ее.

Однако сруб своим видом Вале не поглянулся, и она заставила мужа облицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание ее Василий исполнил: облицевал бревенча плашкой, а саму плашку протравил марганцовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал, как полированный. Под крышей он навесил кружевные карнизы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубой. Высок и красив вышел дом! Казалось, на щипочки привстал, чтобы отовсюду его было видно.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье.

Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили мебельный гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним махом!

Нет, не ошибся Василий, разглядев в Вариних глазах обещание близких радостей. Женой она оказалась куда с добром. И пылинки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмет к груди, и у того дыханье теснится, и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать не может, всегда она ими полна. И ни споров, ни ругани. О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается достать для дома хорошую вещь, которую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Со ссудой рассчитались, уже лишние деньги завелись, стали их на книжку откладывать.

Все хорошо было, что и говорить, а вот теперь он, Василий, снял тайком деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые колеса, которым на свалке и место.

### 3

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами. Кажется, никакая беда не достучится.

А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на дорожную пыль. Не глядел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил неуверенно, не по-хозяйски, как чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь санями. Пошарил за косяком, где заведено было оставлять ключ, но пальцы



нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели Варя так рано пришла?

Василий, как был в спецовке, в сапогах, прошел в большую комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и такой же кофте стояла перед зеркалом шифоньера и солнечно улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки кофты под пояском. — Нравится? На полчаса выпросила померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по ее лицу и голосу, не раскрывала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь бы какая была? — говорила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего одеть. Полный шкаф платьев да кофт.

— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, что творилось! То все плачут — денег нет, а тут у всех деньги появились. Сбежались на склад. Даже уборщицы и те лезут, тоже хватают... Ты, Вася, поднажми. К ноябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжные полки заказать хочет. Сделай ему, мужик он нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.

— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?

— Куда угодно. В кино, например.

— Засмеют, — через силу сказал Василий.

— Ва-ся... Ты, оказывается, ужасно отсталый у меня. Да в городе женщины давно брючные костюмы носят.

— То в городе, — упрямылся Василий, понимая, что сейчас откроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.

— Скажи уж, что денег жалко, — потускнела жена.

— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, с чего бы начать неприятный разговор. Все равно по ее будет, так пусть здесь, дома, узнает про деньги, а не в сберкассе на людях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.

— Как снял? — живо обернулась она.

— Как снимают. Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему спокойному ответу.

— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно.

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, потому что смешон был его ответ, по-детски смешон и велеп.

— Какой мотор? Для чего?

— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассе не успеешь.

— Да уж до костюма ли мне теперь. Так для чего тебе мотор?

— Для вертолета.

Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все истратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматривая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмехнулась. — Это я раньше думала, что знаю. А теперь... Да-а... Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе бабы расска-

зывают: у одной мужик пьет, деньги сроду не отдает. У другой треплется или еще что, а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася себе разве такое позволит? Вот тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто в доме она посторонний человек. Это надо же... Вертолет он захотел!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос не слышанный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся молча, ушел к себе в сарай. Опустился там на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег так на человека? Думал, поругается Варя и тем кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая головой, словно жаловался невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да теперь эти клеточки пропади они пропадом вместе с шалопутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи шел, когда слышались шаги и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался: жена пришла.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внимания, щелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком больно резанул глаза.

— Ты что — тут ночевать собрался? — спросила Варя насмешливо.

Он промолчал.

— Чего есть не идешь? Или сытый? Своим мотором?

Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой рассматривала мужнины приобретения.

— Ну так что будем делать?

Василий пожал плечами.

— Ничего себе... Сам же вичоват, да на меня же смотреть не хочет. Он, видите ли, обиделся...

Василий поднял глаза и увидел, что жена перед ним стоит в обычном своем платье, в котором она ему родна и привычна, и ему подумалось, что, не надень Варя на себя тот костюм, даже по виду чужой, странный, никакой ссоры бы не получилось, что в тех пестрых штанах Варя была не сама собой и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему стало легче от знакомого ее вида, и обиды понемногу улеглась.

— Варя, — хриповато от долгого молчания проговорил Василий, — ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не такая она была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде я, скажем, придираюсь? Например, что-нибудь сготовишь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?

— Интересно мне, какой я. Трудно тебе со мной или нет. Придираюсь я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: «Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. Хорошо мне, плохо — не жалуюсь. Привычки не имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прощу когда?»

— У тебя что, носить нечего?

— Не в этом дело. Просто я для себя никогда ничего не просил.

— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Запереживал уже... Как же: лишняя тряпка у меня будет...

— Опять ты не поняла, — подосадовал Василий. — Покупай себе все, что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?

— Да, — качнул головой Василий.

— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смейся-ка людей. Ты пока что в семье живешь, так что будь добр считайся с семьей. Будешь жить один — делай что хочешь, никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама повикидоваю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.

Василий посидел еще немного и тоже поднялся.

В кухне горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василию не хотелось. Разделся, умылся, полез в постель.

Варя не спала. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда они так близко друг от друга, она поймет его, терпеливо выслушает и не поторопится сказать холодное слово.

— Варь... — позвал Василий. — Давай поговорим.

— Разговаривать будем, когда железки увезешь. Тогда и лезь.

— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять Варю, приласкаться, как раньше, когда

— Душу, говоришь? — хмыкнул сосед. — А чего ты решил покупать? Своей хватать не стало?

— Не стало, Толька, не стало! Потому и покупаю. Продай, а?

— Ты вот что: иди-ка проспись, — холодно посоветовал Долгов, озираясь по сторонам, не слышит ли кто. — Иди отдыхай...

— Нет, спать я не пойду. Я сам спать не буду и тебе не дам. Я через тебя нечеловеком стал! — вырвалось у Семена.

— Ты гляди, он через меня нечеловеком стал! — коротко, зло хохотнул сосед. До этого голос у него был плоский, неживой, словно бы еще ничем не наполненный, теперь же стал колючий, как напильник. — Ты погляди, какой он чистенький. Прямо завидно. Воды не замутит. А вон Петровну заглотив и не поперхнулся, чистенький... Сам напролом пер, как бульдозер, а туда же... Совратили его! Вы поглядите на этого малолетку! — Он уже определился в споре, успокоился и потому выбирал слова побольнее. — Да ты сам давно ждал, когда тебя совратят! Ты уж давно готовый был, только случай не подворачивался. Кто к кому на дачу напросился? Я к тебе или ты ко мне? Ты ко мне! Так чего ты от меня хочешь?

— Знаю, чего хочу. — Семен уже задыхался. Ему мешал забор. Он с силой потянул на себя штакетины, но забор был долговский, крепкий, на все случаи жизни, в том числе и на этот.

Позади Анатолия послышался шелест сухой травы: подходила Галина. Раньше она, судя по всему, стояла у двери веранды, слушала в тени, теперь решила и сама войти в спор.

— Слыхала? — обернулся к ней Анатолий. — Сосед-то наш жалуется. Говорит, совратили мы его.

— Как это? — спросила Галина с показной непонят-

лнвостью, хотя весь разговор слышала. — Кто его совратил?

— Мы! — громко смеялся Анатолий, чувствуя поддержку, и когда снова повернулся к Семену, то не только видом был уже сильнее, даже голос подновился: — Он еще пожалуется на заводе за это! Расскажет, что я ему доски вывозил!

— Дак пусть говорит, пусть! Ты вез-то кому? Ему вез. Вот его же самого и турнут. Ты — работяга, с тебя немного возьмут, а он — бригадир. Хорош бригадир. Работяга его совратил!

Долговы смеялись, на разные лады повторяя слово «совратили», поворачивая это слово перед Семеном всеми обидными сторонами, а самое горькое было то, что ему самому уже и сказать было нечего. Весь он выплеснулся. Да и что теперь скажешь? Правы Долговы: сам попросился к ним в соседи. Дал когда-то слабинку, вот она и завела...

Прибежал Игорек, и теперь они с матерью стояли чуть поодаль от Семена, молча выжидали конца.

— Ну и соседа мы себе взяли под бок, — говорила нараспев Галина. В скандал она вступила поздно и теперь торопилась наверстать упущенное. — Пригрели змею за пазухой. На машине возили как доброго. Ишь ты! Когда помогали строиться — он молчал. Все хорошо было. А теперь конечно... Отбухал домину, и сразу мы плохие стали... Нашим салом да по нашим и мусалам.

— Ага, — с живостью откликнулся Анатолий, подменяя жену. — И к дяде Гоше подлез. Путенку в садик выманил, тот и пикнуть не успел. А теперь рассовестился. Виноватых ищет. Хитер, ничего не скажешь. А с виду тихий.

— Дак в тихом-то омуте, сам знаешь... — подсказывала Галина.

Ираида, которая все это время молча стояла за спиной и в разговор не вступала, сказала раздраженно: — Уйди, Семен. Не позорься. Слышишь?

Семен обернулся к ней.

— Тебе за меня стыдно? — спросил он надсаженным голосом. — Может, и ты примешься меня стыдить?

— Сам дурак, дак думаешь все такие? — кричала из-за забора Галина. — Жену-то хоть не срами. Поди, готова под землю провалиться от стыда.

— Перестань, Семен. Уйди, — с болью говорила Ираида.

— Не-ет, — отрешенно крутил головой Семен. — Не уйду... — И опять повернулся к соседям. — Значит, ты, Толька, ничего не боишься? — спросил затаенно.

— А чего мне бояться? — легким голосом отвечал тот. — Я никого не убил, не ограбил. Живу тихо-мирно.

— Это ты точно говоришь, — вдруг согласился Семен. — Ты никого не убил, не ограбил. Не-ет, с такими, как ты, не так надо. Словами вас не возьмешь. Вы их умеете по-своему выворачивать. Для своей выгоды... — Семен помолчал, переводя дух для самого главного. — Ты знаешь, Толька, что я сейчас сделаю? — начал он и не докончил, захлебнулся, давясь словами, рвавшимися из горла. — Я вот что сделаю... Пущу я красного петуха. Понял? — И засмеялся тихим, дребезжащим смехом.

Семен оттолкнулся от забора и легко, невесомо, будто он не шел по земле, а летел по воздуху, миновал застывших столбами жену и сына, вскопчил в новый дом, где на не крашенном еще полу стояли банки с краской, бутылки растворителя и железная канистра с керосином, которым он мыл малярные кисти.

Мимоходом он перевернул ведро с лаком. Оно загремело, покатилося, резкий запах ударил в нос, но это для Семена уже не имело никакого значения. В доме

было темно: туда еще не успели подвести свет. Он отыскал невидимую в темноте прислоненную к стене канистру: вот она! Ему оставалось лишь опустить руку и нащупать прохладный металл канистры, нетерпеливо и сыто булькнувшей керосином.

На обратном пути Семен поскользнулся на залитом лаком полу и чуть не упал, а ница опору, расцарапав руку о гвоздь, вбитый возле двери для вешалки. Его озарила мысль, что сам дом, построенный его руками, каждой плахой в полу, каждым гвоздем, вбитым в стену, удерживал хозяина, предостерегал от непоправимого. Острая боль в руке отозвалась болью в груди, но остановить себя Семен уже не мог. Боль быстро погасла, затерялась, и тот неведомый поводыр, который без ошибки указал на канистру, вывел Семена из дому и повел туда, откуда он пришел: к забору, разделявшему две усадьбы.

Он уже видел светлые окна веранды Долговых, светящиеся, как показалось, ярче, чем раньше, и как бы специально указывающие ему путь, чтобы не сбился в сторону, а шел прямо к ним. Он видел перед собой четкую тень забора, который совсем не надо раскачивать, как это он делал раньше, а просто выбить штакетины ударом ноги и пройти к соседям... Силы в себе Семен чувствовал огромные, казалось никто не остановит. Но приблизиться к забору ему не дали. Сбоку метнулась Ираида, повисла всей тяжестью на его руке с канистрой, крича что-то страшным, незнакомым голосом.

Семен молча переложил канистру из одной руки в другую, свободную, и сильно толкнул жену плечом. Она выпустила его руку, упала, заходясь надрывным плачем, чего никогда еще от жены Семен не слышал, но не оглянулся, а освобожденно двинулся дальше.

— Игорек! Игорек! — отчаянно звала Ираида за

спиной, звала снизу и глухо, как бы из самой земли.

Она поднялась и снова забежала, опередив, повисая на муже, и снова он легко стряхнул ее с себя. Он видел перед собой только призывно горящие окна соседской веранды — ничего, кроме света, к которому шел. И когда быстрая, живая тень опять заслонила свет, он непроизвольно протянул руку, чтобы отстранить эту вставшую перед ним тень, убрать с пути, но что-то неуловимое метнулось ему навстречу, прошло мимо руки, обняло за шею, и он ощутил на своем лице теплое дыхание сына.

— Не надо, отец. Давай лучше я...

— Уйди, Игорек, — прошептал Семен.

— Нет, отец. Если хочешь, давай я сделаю.

Подскочила опомнившаяся Ираида, вырвала канистру из ослабевших пальцев мужа, убежала во тьму. Семен послушал, как булькает, удаляясь, керосин в канистре, и медленно опустился на землю.

— Вот псих, вот псих! — кричал из-за забора оживший Анатолий. — Связать бы его надо. А то он тут творит — не расхлебаете.

— Ненормальный и есть ненормальный, — причитала следом Галина. — Жили тихо, спокойно, и — на тебе. Навязался на нашу голову. Вот теперь и бойся...

Соседи, минуту назад задавленные страхом, безязыкие, теперь опомнились, отплачивали за пережитое, чем могли, и Игорек, который стоял возле сидящего отца, качнулся к забору.

— Уйдите, дядька Анатолий, — громким, срывающимся голосом попросил он. — Уйдите по-хорошему!

— Ты гляди, он еще грозит! — усмехнулся Долгов.

— Ага, воспитал сыночка. Такой же будет, — откликнулась Галина, но они все же отошли от забора и, постояв еще немного, отправились в дом, где сразу же погасили свет, чтобы наблюдать из темноты.

Семен неловко сидел на земле, упершись ладонями во влажную, принявшую росу траву.

— Ну, все? Перебесился? — услышал он голос жены. Говорила она не зло, а с мягким, мирным укором. — Вставай, простынешь.

Семен поднялся и, поддерживаемый сыном, потихоньку пошел в дом. У дверей обернулся на соседскую усадьбу и замер. Над крышей затанцующего дома Долговых вдруг полыхнуло красное пламя и, оторвавшись, став прозрачным, как дымка, ушло в небо, где и растаяло. Семену показалось, что у него остановилось сердце. Он поглядел на сына, но тот был спокоен, ничего не видел.

Когда Семен снова глянул вверх, то никакого пламени в небе уже не было. Небо просветлело, будто приоткрывшись. В нем мерцали только звезды, яркие, по-осеннему спелые. Казалось, они тихонько позванивали, отчего над Залесихой стоял чистый и тонкий, тоже словно мерцающий тревожный звон.

## РАССКАЗЫ





После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктивном бутылку белой. Было это так неожиданно, что женщины, толпившиеся у прилавка, переглянулись и покачали головами, а мужики, которым непьющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух: что же такое случилось с Атясовым, что и его наконец-то прорвало? И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь.

Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разглядел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребсоюза, Сережку она с утра уводит к теще, чтобы не слонялся с мальчишками, а приучался бы помогать в хозяйстве.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хотел было идти дальше, но вдруг будто уколосся: из смежного двора, отодвинув сломанную штакетину, на него глядела соседка Федоровна. Вставила в пролом, будто в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и глазела, недоумевала, видно, куда это подался Атясов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выставил острую морду нелюдимый старухин пес, будто и ему интересно.

Федоровну еще называли Золотой Рыбкой. Появилась на селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтовиков.

По доброте ли своей, или оттого, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех гаданий обычно оказывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, а Федоровна заняла чью-то брошенную избушку и осталась в ней. Желаящих погадать становилось год от года меньше, а потом в сельсовете старуху принудили выселением, и она поутихла. Был у старухи черный трехлапый пес, который неотвязной тенью ходил за нею, и она запрягала его в тележку или в санки, чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя повозку в две силы — человечью и собачью, мужики отчего-то смущались и отворачивались. Однажды и Василий видел, как черный кобель, натужно упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку дров. Федоровна подталкивала воз сзади жердиной и не помогала, а только мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как раз против окон Атясовых, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не так скользко было, черный кобель совсем выбился из сил. Он лег и хватал снег горячим ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую шерсть на судорожно вздымающихся боках, говорила что-то утешающее, ласковое.

Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь, но кобель, не поднимаясь, с таким остервенением на него зарывал, что Василий ступешелся и ушел с досадой. Теперь, видя, с каким интересом смотрит на него старуха из-за забора, поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — подумал Атясов в сердцах и, потоптавшись, все же пошел от дома в конец села, и на душе у него было нехорошо, будто уличили его в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной, зубчатой стеной леса, напоминающего перевернутую вверх зубьями пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто здесь ничего не сажал, не сеял, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты брали на борт нескольких пассажиров и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой вертолетик лесной противопожарной службы. Летчики-наблюдатели заправляли баки горючим, обедали в дешевой леспромхозской столовой и летели снова кружить над тайгой.

Специальных строений на аэродроме не было. Под навесом, сколоченным из горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, стоял дом пожилого мужика Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на поле, прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты. К нему-то и шел Василий, покусывая сухую былинку, слушая, как похвастывает о голенища сапог жухлая трава и удивляясь: вчера еще вроде поле молодо зеленело, а вот уж укатилась весна и лето на исходе. Как все-таки незаметно приходит одно за другим, и от этой быстротечности тоска ложится на душу.

Тимофей во дворе насаживал лопату на новый черенок. Увидел Василия — замер с занесенным для удара топором, постоял так, раздумывая, ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, чо ли? — спросил он с некоторым удивлением, заметив, чем оттянут карман стояря.



— Я, — сказал Василий с неловкостью. — Зашел вот...

— А я тут лопату подновляю. Картошку скоро копать.

— Ну так работай. Я подожду.

— То ли ее завтра копать, картошку-то, — улыбнулся Тимофей.

Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то неотесанные, костлявые. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые обветренные щеки. Прорезь рта неожиданна, и от самых его краев начиналась колючая, как стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимофея лицо, а улыбка — детская, беззащитная. Даже странно ее видеть в таком каменно-твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей и по привычке отряхнул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках были брезентовые рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки двулалы, как верхонки. Есть только большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься наподобие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой создан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. Благо, и верхонки на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий снял у порога сапоги, чтобы не натищать, и пройдя к столу, выставил уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя, Василий, — сказал Тимофей в некотором замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну нельзя, так и не надо, — не очень расстроился гость. — Тогда просто посидим. Поговорить надо.

— Зачем просто? Чаю подогрею.

Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.

— Ну как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебывая чай и собираясь с мыслями.

— Идет вроде...

— Вертолеты, значит, летают?

— Летают, куда им деваться.

Василий вздохнул, повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно смешно, а ты не смейся. Тут дело вот какое... Вертолет мне охота сделать...

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?

— Так... Сделать вертолет. Маленький, конечно, на одного. Полетать над полем, над лесом. — Василий поднял ладонь и повел ее над головой, показывая, как бы он полетел.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:

— Не полетит.

— Почему? — Василий опустил руку на стол. — Думаешь, не смогу? У меня хоть грамотешки не много, а глаз цепкий. Вот, скажем, надо раму сделать. Я на нее поглядел... — Василий повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул указательным пальцем по лбу. — Хочешь, я тебе размеры сейчас на бумажке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим?

— Так это рама, — усмехнулся Тимофей безгубым ртом.

— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в ка-

бину, и хорош. Сделаю. Я уж кое-какие журнальчики нашел, там про вертолеты все сказано. Мне на живой теперь надо поглядеть.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Не фабричный будет, потому и не полетит. Это, парень, вертолет... Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и повторил: — Управлюсь.

— А потом я слышал, будто нельзя самодельные-то, — продолжал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ём в Америку, поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?

— Кто тебя знает. Сведения передашь.

— Какие сведения?

— Какие бывают сведения...

— Ты зря так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался щербатым ртом.

— Да это я так... Шучу... — И, видя, что гость обиделся, спросил сочувственно: — И давно это у тебя?

— Да нет. Недавно, — сухохато отозвался Василий.

— Может, с детства метил в летчики?

— Да нет. Не метил. В армии посмотрелся разных самолетов-вертолетов — и ничего. А тут вдруг накапало — спасу нет.

— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет да слетай в райцентр и назад. Чтобы зуд-то прошел.

— Я пассажиром не хочу.

— Вот беда, — опечалился Тимофей и, помолчав,

спросил: — Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?

— Не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Тебе, говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. Вот и начал я столярничать. Не пропадать же инструменту, да и матери помогать надо было.

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному...

— Ну а в среднем?

— Где-то за двести.

— Во! — поднял Тимофей негнувшийся палец. — Да еще калымишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?

— Дает.

— Вот он, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта, как ее... династия будет. За это нынче хвалят.

— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.

— Ну. Сыну своему.

— А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроется? — Василий помотал головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан к машинам потянется, а я его в столяры... Династия... — Василий криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе сидит. Вроде как... наследственность. Я читал в газетке.

— А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий. — Самолеты давно ли появились? Или Гагарина возьми. Кто у него в космос летал, отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Ну и смейся,

ведь смешно. Наследственность... Нет, что ни говори, а я несогласный. Потянется Серега к другому делу, пережить не стану. Инструмент в печку брошу, гори он огнем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому хочешь сгодится. Лучше продать.

Василий улыбнулся.

— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в третий пойдет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо.

— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй выбрось. Жена тебе так выбросит, бедный станешь.

— Это точно, — согласился Василий. — У нас и дом от дедова инструмента, и обстановка от него, в сыты и одеты, слава богу, не хуже других. Все у нас на нем держится. Варя это знает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня отчитала. Потому что лишняя тряпка — от рубанка. А одеваться она любит. Страсть прямо. Мне вот все равно, в чем я. Есть чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на складе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба... У них свое, — отозвался Тимофей. — Только хуже нет, когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и ничего. Для дома достанет и то и другое. Уж торгашни себя-то завсегда обеспечат. Это дело известное. А с другой стороны... Товаров видит много, глаза и разбегаются... Не видала бы — так лучше, а тут умри, а купи. Не купить — сразу мужик плохой, мало зарабатывает. Да разве на все ее прихоти зарабатываешь? Я через это и разошелся. И лучше. Никто не дергает. Ты, парень, укорачивай свою-то. Эт-то в селе встрелась, так и не поздоровалась. Где ей, такой

разодетой, с каким-то мужиком здороваться? От тряпок вся ихняя гордость. Укорачивай ее. Миллионер, мол, я ли, чо ли? Мало ли чего на складе не лежит. Всего не купишь. Другим оставь.

— А-а, пускай, — махнул рукой Василий и насыпился. — Пусть одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей. Накатилось — веришь, спасу нет. Уж и снится стало, будто лечу над этим полем, над лесом. И так мне хорошо, так сладко, душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Чо с тобой делать-то... — раздумчиво проговорил Тимофей и долго смотрел на Василия молча, потом сказал: — Ну дак смастери себе вертолет, раз уж так приперло. Вот пожарники прилетят, подпущу тебя к машине. Гляди, шут с тобой.

— Вот за это спасибо, — повеселел Василий. — Я знал, Тимофей, что ты хороший человек, Потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший... А насчет механики проси Мишку, племяша.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. Маленький мужичонко, шустрый такой, глаза пронырливые.

— А что, Мишка, слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уловив в лице столяра раздумье. — Он хоть и закладывает, а в моторах шибко понимает.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого помощника, ему, пожалуй, не найти. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу.

Но Тимофей уже прислушивался к чему-то другому. Василий глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле перечеркнула бесшумная тень вертолета, и только после этого услышал рокот мотора, неожиданный и сильный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей,

поднимаясь. — Ты посиди покаместь тут, а как летчики уйдут, так и приходи. А то они не любят, когда трутся посторонние.

В окно Василий видел, как двое летчиков, невысокие, похожие друг на друга, может потому, что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатанными рукавами, и на головах у обоих одинаковые форменные фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему и двинулись в село.

Когда Василий вышел, Тимофей, как часовой, прохаживался возле вертолета.

— Гляди сколь влезет, — разрешил он.

Вертолетик был маленький. Василий измерил его длину от носа до хвостового винта рудеткой и, сощурившись, пристально разглядывал лопасти основного винта и крошечные, словно игрушечные, колесики — пытался запомнить машину во всех подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул в кабину, рассматривая ручки управления и многочисленные приборы.

— Тут без поллитры не разберешься, — хохотнул Тимофей.

— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как, — попросил Василий робко.

Но Тимофей сразу же затвердел лицом:

— Глядеть — гляди, а руки, паря, придержи. Нигде ими не касайся.

— Да я же не съем.

— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю и вовсе глядеть не разрешу.

Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опускался на колени, изучая машину снизу, осматривая еще и еще спереди, с боков, до тех пор, пока не услышал молодой, насмешливый голос:

— Эт-то что тут за комиссия?

Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, оправдываясь, заторопился:

— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет хочет изладить. Только смотрит. А руками нигде не касался.

— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернувшись к Василию, потребовал:

— А ну, покажи руки!

Василий с готовностью протянул ладони.

Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.

— Значит, вертолет хочешь? Ну даст! А «Москвич» не хочешь? Или «Жигули»?

— Не хочу.

Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.

Потом один из летчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, щелкал другой, нажимал на педали.

— Ну, понял?

— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять терпением занятых людей.

— Тогда от винта!

Летчики уюстились на сиденьях, захлопнули дверцу. Сквозь стекло было видно, как они весело переговаривались, поглядывая на Василия. И вдруг помотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала медленно, будто неуверенно крутнулись и слились в сплошной сверкающий круг, поднимая траву тугим ветром.

Вертолет качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу, и вдруг пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на

солнце зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в поднебесье.

— Как стрекозка, — задумчиво сказал Василий, не в силах оторвать глаз от неба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал воздух.

— Пошли, — тянул его за рукав Тимофей, потому что к ним из избы уже шел Мишка.

— Вы чо это бутылку беспризорной оставляете? — спрашивал Мишка улыбочиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.

— Как это? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький росточком, даже удивительно было, что он — родственник рослому Тимофею.

Узнав про желание столяра, Мишка загорелся:

— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем ларьке выпить нету, взял и слетал в райцентр. Там-то всегда. Так что мотор я тебе сделаю. Это мертво!

— У меня еще и мотора нет, — признался Василий.

— Как нет? — Мишка силюнул, растер плевков носком стоптанного ботинка, задумался и слова встрепнул: — Стоп, Вася, с тебя пузырек. Будет мотор. — И, оглянувшись, будто их мог кто услышать, зашептал: — В загогупушенные старые аэросани есть. На сосну налетели ночью по пьянке. Сани-то угробили, понятно, а мотор — целый. Он сзади, что ему делается!

— А отдадут они его? — усомнился Василий.

— Отдадут-ут! — лихорадило Мишку. — Главное со Степановым, с ихним начальником, договориться. Мы к нему вместе пойдем, потому что тебя одного он делает как хочет. А со мной — не-ет... Я его как облупленного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка сжал кулак, показывая, где у него Степанов. — Мы его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не грешн. А мотор — само то. Одно добро.

— Во чо делает! — восхитился Тимофей, глядя на своего племянника. — На живом месте дыру вертит. Не пил бы, большим человеком был бы. Может, даже завгаром.

В просторном деревянном доме, куда привел Мишка Василия, сидела за канцелярским столом девица, перекидывала костяшки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, знай» и «Охотник, помни». Вдоль стен стояли тяжелые скамейки, известка над ними дочерна вытерта спинами посетителей.

Мишка дурашливо облапал девицу сзади.

— Здоровы были!

Девица презрительно повела на него длинными ресницами, на которых дрожали кусочки туши, равнодушно освободилась от его рук и снова принялась за свое дело.

— Начальство у себя?

Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа.

Подмигнув Василию, потащил к другой комнате, дверь в которую была обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался на улице, но знаком не был и потому не здоровался. Сейчас ему было неудобно. Степанов — мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чудом сохранил густые, до того пышные и густые, что они казались чужими на его лице. Он подал руку Василию, кивнул на стул. На Мишку он даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков, потому что крутить вокруг да около не любил и не

умел. — У вас, говорят, ненужный мотор есть. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.

— Да есть такие...

Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, какие-то очень уж зоркие, такие, кажется, человека насквозь видят.

На Мишку он посмотрел остро из-под своих бровей, и тот беспокойно заерзал на стуле.

— Ненужного не держим, — проговорил Степанов. — У нас все только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. Ведь на них сто лет никто не ездит!

— Сейчас не ездим, а отремонтируем и будем.

— Да чо там ремонтировать? Дешевле новые...

— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Это мы уж сами разберемся, что с ними делать.

Василий, проклиная в душе Мишку, поднялся виновато.

— Ну, нет так нет. Извините, если что...

— Ничего, ничего... — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся со своего стула, прислонился к подоконнику. Смотрел на Василия без злости и недовольства. С интересом смотрел. — А зачем вам, если не секрет, этот мотор? Вы ведь, кажется, столяр, не охотник. Это охотникам сани для промысла нужны. А вам?

Василий замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:

— Ему на глассер надо. По речке плавать!

Василий густо покраснел. Речка по селу протекала каменистая, мелкая. Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол провалиться.

Степанов неопределенно покачал лысиной, но в

подробности плавания по речке на глассере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес был в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно. — Сломанные. Все исправить никак не соберемся. Времени нет. То одно, то другое. Сейчас отлов соболей на носу. План большой, а у нас клеток мало. Вот если бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились нам сделать с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя на него промысловики давно зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семечки. Сколь надо, столь и сделает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он знал, что за клетку платят по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то за них никто и не берется. Но это другие не берутся, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Такого мотора больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.

Степанов позвал девицу из приемной, и она выписала тут же две бумажки. В одной Василий расписался в получении пятидесяти рублей аванса за клетки, в другой за то, что внес эти деньги в кассу заготпушины в счет мотора.

Василий вышел на улицу в большой растерянности, не зная, радоваться или огорчаться.

— Да чо ты кислый такой! — горячо шептал Мишка. — Все нормально. Отдадут тебе мотор по дешевке. Видал, как мы Степанова прижали? Уж я-то его знаю как облупленного. — Помолчал, сплюнул под ноги, поинтересовался: — Тебе колеса какие нужны? От мотороллера?

— Вроде бы.

— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение? Только трояк надо. Без этого сам понимаешь...

Василий дал три рубля и пошел прочь.

От природы Атысов был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с просьбами, но тут, хочешь не хочешь, пришлось ходить к знакомым и незнакомым людям, клянчить то одно, то другое. Противно, а иначе нельзя. Надо фанеры толстой и тонкой, надо клею хорошего, да мало ли еще чего надо. Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым пропеллером на валу, спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал потрепанные колеса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов деньги за мотор сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил двести пятьдесят, остальные внес раньше, когда получал за клетки, но это не утешало. Колеса тоже недешево обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Последние рубли на бутылки разменял: тому надо поставить, другому, третьему. Нигде насухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как известно перед Варей. Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спроса, тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату всегда отдавал до копейки, приработок тоже отдавал, не припрятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем припрятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст.

Вздохнул Василий, мысленно повинился перед женой.

Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его начальство послало подремонтировать окна и двери. Ва-

силиий только вернулся из армии, носил солдатское, был весел и свеж лицом. И работал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, тарашились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, среди других, была и Варя. На столыра она игриво не поглядывала, но, даже опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:

— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.

— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.

— Может, костюм желаешь? На складе есть импортные.

— И с костюмом погожу.

— Ну тогда выбирай невесту. Любую отдадим бесплатно. — И сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.

И Василий посмотрел на Варю.

Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой ошутимый, будто бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие, что Василий задохнулся от предчувствия.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней, и она этому не удивилась.

Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установилась саниная дорога, сказал ей: «Зачем нам время переводить на гулянья? Пока снег неглубокий,

самая пора бревна подвести. Давай-ка поженимся и начнем дом строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не промах — загодя копила, так что строить было на что. Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое, и родители Вари предложили молодым пожить пока у них, однако Варя изотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избушке: не только в пляске разгуляться — сесть негде. Но молодожены не горевали, только посмеивались: «Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с санями, привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не как-нибудь, сразу на пятистенок замахнулся.

Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, пришли товарищи по работе и помогли возвести стены и поднять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, который словно заглотив ее.

Однако сруб своим видом Варю не поглянулся, и она заставила мужа облицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание ее Василий исполнил: облицевал бревна плашкой, а саму плашку протравил марганцовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал, как полированный. Под крышей он навесил кружевные карнизы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей. Высок и красив вышел дом! Казалось, на цыпочки привстал, чтобы отовсюду его было видно.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье.

Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили мебельный гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним махом!

Нет, не ошибся Василий, разглядев в Вариних глазах обещание близких радостей. Женой она оказалась куда с добром. И пылинки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмется к его груди, и у того дыханье теснится, и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать не может, всегда она ими полна. И ни споров, ни ругани. О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается достать для дома хорошую вещь, которую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Со ссудой рассчитались, уже лишние деньги завелись, стали их на книжку откладывать.

Все хорошо было, что и говорить, а вот теперь он, Василий, снял тайком деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые колеса, которым на свалке и место.

## 3

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами. Кажется, никакая беда не достучится.

А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на дорожную пыль. Не глядел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил неуверенно, не по-хозяйски, как чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. Пошарил за косяком, где заведено было оставлять ключ, но пальцы



нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели Варя так рано пришла?

Василий, как был в спецовке, в сапогах, прошел в большую комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и такой же кофте стояла перед зеркалом шифоньера и солнечно улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки кофты под пояском. — Нравится? На полчаса выпросила померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по ее лицу и голосу, не раскрывала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь бы какая была? — говорила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего одеть. Полный шкаф платьев да кофт.

— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, что творилось! То все плачут — денег нет, а тут у всех деньги появились. Сбежались на склад. Даже уборщицы и те лезут, тоже хватают... Ты, Вася, поднажми. К ноябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжные полки заказать хочет. Сделай ему, мужик он нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.

— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?

— Куда угодно. В кино, например.

— Засмеют, — через силу сказал Василий.

— Ва-ся... Ты, оказывается, ужасно отсталый у меня. Да в городе женщины давно брючные костюмы носят.

— То в городе, — упрямылся Василий, понимая, что сейчас откроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.

— Скажи уж, что денег жалко, — потускнела жена.

— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, с чего бы начать неприятный разговор. Все равно по ее будет, так пусть здесь, дома, узнает про деньги, а не в сберкассе на людях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.

— Как снял? — живо обернулась она.

— Как снимают. Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему спокойному ответу.

— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно.

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, потому что смешон был его ответ, по-детски смешон и нелеп.

— Какой мотор? Для чего?

— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассе не успеешь.

— Да уж до костюма ли мне теперь. Так для чего тебе мотор?

— Для вертолета.

Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все истратил. Остались же. Да и еще зарабатую. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматривая мужинно лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмехнулась. — Это я раньше думала, что знаю. А теперь... Да-а... Наконец-то я дождалась от своего муженька. На работе бабы расска-

зывают: у одной мужик пьет, деньги сроду не отдает. У другой треплется или еще что, а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася себе разве такое позволит? Вот тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто в доме она посторонний человек. Это надо же... Вертолет он захотел!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос не слышанный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся молча, ушел к себе в сарай. Опустился там на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег так на человека? Думал, поругается Варя и тем кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая головой, словно жаловался невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да теперь эти клеточки пропадут пропадом вместе с шалопутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи шел, когда слышались шаги и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался: жена пришла.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внимания, шелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком больно резанул глаза.

— Ты что — тут ночевать собрался? — спросила Варя насмешливо.

Он промолчал.

— Чего есть не идешь? Или сытый? Своим мотором?

Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой рассматривала мужнины приобретения.

— Ну так что будем делать?

Василий пожал плечами.

— Ничего себе... Сам же виноват, да на меня же смотреть не хочет. Он, видите ли, обиделся...

Василий поднял глаза и увидел, что жена перед ним стоит в обычном своем платье, в котором она ему родна и привычна, и ему подумалось, что, не надень Варя на себя тот костюм, даже по виду чужой, странный, никакой ссоры бы не получилось, что в тех пестрых штанах Варя была не сама собой и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему стало легче от знакомого ее вида, и обида понемногу улеглась.

— Варя, — хриловато от долгого молчания проговорил Василий, — ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не такая она была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде я, скажем, придираюсь? Например, что-нибудь сготовишь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?

— Интересно мне, какой я. Трудно тебе со мной или нет. Придираюсь я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: «Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. Хорошо мне, плохо — не жалею. Привычки не имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прощу когда?»

— У тебя что, носить нечего?  
— Не в этом дело. Просто я для себя никогда ничего не просил.

— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Запереживал уже... Как же: лишняя тряпка у меня будет...

— Опять ты не поняла, — подсадовал Василий. — Покупай себе все, что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?

— Да, — качнул головой Василий.

— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смейся-ка людей. Ты пока что в семье живешь, так что будь добр считайся с семьей. Будешь жить один — делай что хочешь, никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама повыкидываю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.

Василий посидел еще немного и тоже поднялся.

В кухне горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василию не хотелось. Разделся, умылся, полез в постель.

Варя не спала. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда они так близко друг от друга, она поймет его, терпеливо выслушает и не поторопится сказать холодное слово.

— Варь... — позвал Василий. — Давай поговорим.

— Разговаривать будем, когда железки увезешь. Тогда и лезь.

— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять Варю, приласкаться, как раньше, когда

у них все было ладно, но Варя не приняла его, в сердцах отдернула плечо, повернулась к стене.

Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил неспешно и тихо. В семь часов он вставал без будильника, от привычного внутреннего толчка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мастерскую леспромхоза. Начиналась смена, и он пилил, строгал, тесал, делал то, что должен был делать. Ни суеты, ни торопливости в себе не знал. Зачем и куда торопиться, если руки движутся как бы сами собой и к концу смены сделают положенное.

Придя с работы, ужинал, около часа дремал на диване и шел в свой хорошо оборудованный сарай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы сельчан. Жизнь шла ровно и уверенно, не докучая особыми заботами. А теперь все сбилось с привычного хода, будто пружина соскочила с держателя и стрелки часов равнули быстрее, чем надо. На работе Василий думал, как бы поскорее попасть в свой сарай, и заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать. И уже не разлеживался на диване, а наскоро перекусив чем придется, бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешенный после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимался за дело. Выкраивал по самодельным чертежам шпангоуты фюзеляжа, заготавливал бруски для лопастей винтов и другие детали, чтобы потом из фанерных, металлических, пластмассовых частей собрать то, из-за чего переначилась его прежняя, без тревог, жизнь.

Попозже приходил Мишка, предварительно проследивший, нет ли поблизости Вари, которая могла его

турнуть со двора. Мишка крадучись шмыгал в сарай, запирался на крюк и открывал потрепанную балетку с инструментами. Звеня ключами, запускал руки во внутренности мотора, что-то перебирал, чистил, смазывал, однако надолго его не хватало.

Скоро Мишка, сплевывая на пол, что раздражало чистоплотного Василия, отступал от мотора, скромно ухмылялся:

— Плесни что-нибудь, а то здоровья нету.

— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью говорил Василий. Он уже привык к ежедневному Мишкиному вымогательству и заранее припасал бутылку. Наливал слесарю полстакана, и тот, успокоившись на время, снова копался в моторе. Потом присаживался перекурить и собирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко за полночь, удивляясь себе: раньше в десять вечера уже ныли спина и руки, а теперь будто за порогом оставлял усталость. И работал, работал, боялся словно, что не дадут закончить задуманное.

Жена в сарай больше не заходила и ужинать не звала. Иногда она оставалась ночевать у матери, и Сережку домой не приводила, как догадывался Василий — специально. Мужа позлить. А когда была дома, то с Василием объяснялась знаками, как с глухонемым.

Однажды Василий не выдержал, спросил:

— Сережку-то насовсем отдала, что ли?

И тут жене прорвало. Она будто давно ждала этих слов, и ответ у нее был под рукой:

— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучился. Люди уж смеются над тобой. Совсем из ума выжил!

Василий замолчал, жалел, что затеял разговор, но Варя молчать не хотелось. Намолчалась, много у нее слов накопилось.

— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз больше делать нечего. Все бы польза была. Вон Ширяевы каждую осень ездят в тайгу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили да бочку брусники замочили. А сколько сухих грибов в потребеоюз сдали! Знаешь, как заработали. А он — вертолетик. Только о себе и думает. Эгоист! Да еще сына вспомнил. Как же, нужен ему сын!

А тут нехстати пришла девка от Степанова из заготовщины узнавать про клетки и начала разговор почему-то не с Василием, а с Варей... Степанов грозился пожаловаться в леспромхоз, если через неделю клетки не будут готовы.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал, и едва девка укатилась, вышел сам, сел на ступеньки крыльца, запечалился.

Работа тем не менее у него двигалась споро. Где-то надо было уже собирать вертолет. Делать это дома, во дворе, он не решался. Опасался. Варя и на самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить машину к полю через всю деревню. Народ сбегится от стара до мала, лишних слов наслушаешься. Зрители соберутся. Нет уж.

На другой день пошел к Тимофею проситься поднавес. Тот долго кряхтел, но потом махнул рукой и даже коня дал — детали перевезти. Василий в ту же ночь все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как грузился муж.

— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше не видеть? Чтобы хоть надо мной-то не смеялись бы!

Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея. Варя тоже ушла к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сиротливый, затаившийся стоял дом, опустевший на ночь впервые за все годы. Жутковато было

глядеть на его светящиеся под луной стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома мужик или нет? Пошарила в стене — ключ оказался на месте, и у нее кольнуло под сердцем. Не стала отпирать замок, пошла к матери за Сережкой. Все не одной сидеть. И когда уже с сыном подходила к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Федоровну Варя не любила и даже побанвалась втайне. Еще когда дом строили, она все беспокоилась: слишком уж часто и непонятно глазела старуха через забор к соседям. Заберется с вилами на сарай, будто овечкам сена скинуть, а сама обопрется на вилы и смотрит, как мужик на крыше доски приколачивает. И черный трехлапый кобель насторожит уши и тоже уставится в соседний двор, словно и у него свой интерес.

Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, злилась на Золотую Рыбку, хотела высказать ей то, что надо, но все не решалась.

— Да и Василий посмеивался:

— Пускай смотрит, тебе-то что! Или боишься — отобьет? Так она вон какая старая.

— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тревожно, — отвечала Варя, и, наверное, у нее все-таки было от чего беспокоиться. Вся жизнь Атясовых проходила под неусыпным Рыбкиным взглядом. Как дом строили — старуха видела во всех подробностях. Новую мебель везли — и ее старуха не пропустила. Купили холодильник — и на него смотрела Федоровна из-за забора. Сережку из роддома и того не проворонила, проводила в дом цепким своим взглядом. Варю к крыльцу пришлось боком идти, чтобы загородить младенца от бабкиного взгляда. Боялась, как бы та не сглазила.

«Завидует... А мы разве виноваты, что у нас жизнь хорошо складывается», — подумала Варя, но всякий раз, когда везли домой что-нибудь новое, ей было стыдно перед Федоровной, будто этой вещью, предназначенной для кого-то другого, они завладели обманом, и соседская завалюха казалась ей нарочно тут под боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны одни и удачливы другие.

— Варя, ты дрожжами не богата?

Вот еще за что не любила Варя старуху. За голос. Голос у нее на удивление был свежий, девичий. Услышишь такой голос, обернешься и не поверишь, что исходит он из сморщенной старухи.

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она словом со старухой не перекинулась, при встрече старалась обежать ее подальше, и вот на тебе: дрожжей просит. Понадобились ей дрожжи. Но тогда тайная надежда ворохнулась в ней, все-таки ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы позвать. Ничего уж теперь она не сглазит. Сглазить-то нечего.

— Есть, дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась Варя. — Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Федоровна вошла и зорко огляделась, узнавая вещи.

Варя усадила ее на мягкий стул, принесла непочатый брикет дрожжей, подала.

— Весь кусок отдашь ли, чо ли?

— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, вздохнув, присела рядом.

— Чо вздыхаешь-то? — живо спросила Федоровна, будто дождалась этого вздоха.

Варя безнадежно махнула рукой.

Старуха еще спросила:

— Сам-то где? На работе ли, чо ли?

«А ты будто и не знаешь», — подумала Варя, а вслух сказала жалобливо:

— Какая там к черту работа. Совестно сказать. У Тимофея он. Вертолетик строит... — И еще вздохнула. — Прямо беда какая-то. Уж лучше бы запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла бы к директору: так и так, мол, образумьте. Его бы на собраниях пробрали как следует, и был бы как миленький. А тут куда пойдешь? Не будешь же жаловаться директору, что мужик вертолет строит. Не пьет, не нарушает ничего. Что ему сделают? Надо мной же и посмеются. А сколько денег извел на эту затею — страшно сказать. Уж лучше бы и пропилил те деньги, не так бы было обидно. Ну пропилил и пропилил. С кем не бывает. Да и мало ли чего пропиивают. Так ведь на глупости. И как ненормальный стал. Никого не видит, ничего не слышит. Молчит и молчит, как идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смирный был мужик, слова поперек не скажет, и вот — на тебе... Чего ему не хватало?

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила Рыбка своим девичьим голосом. — Всего навалом в избе: и пить, и есть, и одеться. Телевизоры разные... Разбаловались люди, маются, не знают, какую им еще холеру надо.

— Да при чем тут это? — перебила Варя неуверенно.

— А при том... Раньше-то, когда жрать было нечего, глупостями не занимались.

Варя спорить не стала. Попросила тихо:

— Ты б, Федоровна, раскинула фасоль-то.

— Ну ее к лешему, — отмахнулась старуха. — Меня за ее вызывали.

— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же и смеяться будут, если узнают, что гадала.

— Ну ладно. Жалко мне тебя. Согрешу уж.

Старуха сходила домой, принесла темный засаленный мешочек. Высыпала из него на стол пестрые фасо-

лины, стала разбирать их на равные кучки, что-то нащипывая про себя.

Сережка, до этого молча сидевший с книжкой в углу, вытаращил глазенки, и Варя, спохватившись, выводила его гулять.

Рыбка, разложив фасоль, сказала вдруг:

— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.

— Какая? — сжалась Варя.

— На его тень стрекозы упала.

Варя так и раскрыла рот, испуганно глядя на старуху. Жалела уже, что и позвала.

— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила она наконец. — Какая еще тень? Чего собираешь-то?

— А такая. С крылышками. От стрекозки... Нет, милая, видно, не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься, у каждого мужика есть какая-то отдушина. Либо пьет, либо треплется, а то как твой — строит какую-нибудь холеру, зря изводится.

— Вон ты про что, — немного успокоилась Варя. — Говорят, у Василия и отец был немного не в себе. Может, от него что передалось. Он ведь тоже пить не пил, а заберется на крышу и горланит песни на всю деревню.

— Чего не знаю, того не скажу, — замялась старуха. — Ты лучше скажи мне: если уберу с мужика эту самую тень, чем меня отблагодаришь?

— Так вы скажите сами, сколько надо.

— Я деньгами не хочу, — помотала головой Рыбка.

— Могу из одежды что дать.

— Одежда у тебя больно модная. Не по старухе.

— Ну, тогда не знаю. Скажите сами.

— Обещай, что Василий гроб мне сделает.

— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Какой еще гроб, ты ведь живая. Как можно!

— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.

— Так сделает, чего же не сделать. Соседи ведь...

— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него легкая, ласковая. На Митьку моего шибко он похожий. Такой же рукастый. Только давно нетука Митьки-то. Все ушли, а я вот осталась, мыкаюсь. Ты уж попроси мужика, пусть постарается. Я вас оттуда благословлю.

Скоро Рыбка ушла, а ошарашенная Варя как сидела на стуле, так и осталась сидеть в оцепенении, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Всю страх спеленала.

И тут Василий с Сережкой входят.

— Папка, они гадали, — рассказывал Сережка. — Меня прогнали, а сами гадали фасолью. С бабкой Рыбкой.

— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме. Заберу Сережку и уйду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя сквозь слезы.

— Давай, давай... — потерянно повторял Василий. — Иди к маме. — Ему было уже все равно.

Потом они молчали, и снова сиротливо было в доме, даже еще сиротливее, чем в тот раз, когда оба ушли из дома. Тогда хоть ушли, а тут семья в сборе, а кажется, что дома — никого, одни пустые стены.

5

Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя в темный потолок и соображая, который идет час. Прислушавшись к дыханию жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый сиреневый свет.

«Поздно уже светает», — подумал он.

На столе четко тикал будильник. Сегодня он не звонит, хозяевам некуда собираться — суббота. Потому и поднимался Василий с раскладушки тихо, стара-

ясь не скрипнуть, иначе Варя может проснуться и спросить, куда это он в такую рань.

На дворе было сумрачно и зябко, наверное, уже лужи подморозило. Небо же было чистое, звездное, и он порадовался, что хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь плохо, видел обрывки странных снов, которые не запоминались, от них оставался лишь тяжкий осадок в памяти. Очень его погода беспокоила. То ему казалось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно слышал шум дождя, то чудилось, что небо сплошь обложено тяжелыми, до земли, тучами, и эту их тяжесть он ощущал всем телом.

А на самом деле оказалось лучше, чем ожидал. День обещался сильный и звонкий.

...Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате обозначилось движение. Скрипнули половицы, щелкнул откинутый крючок, и на пороге, в исподнем, появился заспанный хозяин. Позевывая, он впустил раннего гостя, зажег свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.

— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка бы скорее пришел.

— На что он тебе?

— Болты на лопастях жидковаты, обещал новые нарезать.

Тимофей хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил только:

— Ты, верно, не евши? Чаю согреть?

— Мне сейчас ничего в горло не полезет.

— Боязно?

— Как тебе сказать... Мало ли что может...

— Так не лети. А то еще гробанешься.

— Не накаркай.

За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспокоился:

— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там его подожду, а то гляди — светло как.

Под навесом в сумраке едва угадывались контуры вертолета. Василий взялся за стойку колеса, уперся плечом. Творение его оказалось нетяжелым, к калитке выкатили вполсилы. Там остановились.

— Разберем забор, — предложил Василий.

Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрал, доски оттащили в стороны. Снова покатали вертолет.

— Постой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиационного.

Тимофей снова помялся, принес канистру, предупредил:

— В случае чего, не говори, что у меня взял. У охотников, мол, им дают для пушинны — обезжиривать.

Наконец машину выкатили на облюбованное Василием место. Перевели дух.

— Ну где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договорились. Я ему полста рублей дал за работу.

— Вот это зря, — покачал головой Тимофей, — надо было потом, когда все сделает, тогда и дать.

— Он иначе не соглашался.

— Ну вот. Жди теперь его... У него вчера в доме скандал был. Кажись, Рыбка к ним приходила. Поди, рассказала его бабе, та и взяла в оборот. У него баба — гром.

Василий сплюнул с досады, и отойдя от машины, разглядывал ее со стороны чужими, оценивающими глазами.

Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной стены леса, осветило зеленый бок вертолета, оттенило, как ребра, переборки из-под крашеной материи. Засияло оргстекло кабины, по лакированным сосновым

лопастям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды только на военных бывают, а у тебя — личный. Не положено.

— А пусть светит, — смущенно улыбнулся Василий. — Со звездочкой как-то веселее.

— Ты чо же, полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как напряжился Василий, как построжел лицом. — А болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету, Тимофей.

Василий еще раз оглядел свою машину всю сразу, надеясь увидеть в ней ту силу, которая оторвет от земли, прерывисто вздохнул и, решившись, полез в кабину.

Умостился на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для этого оконным шпингалетом. Махнул рукой Тимофею: давай!

Тимофей поднял заводилку — палку с ременной петлей на конце, зацепил ею за лопасть, нерешительно глядел на столяра.

— Дергай! — кричал Василий.

— В какую сторону? — не понимал Тимофей.

— По часовой стрелке!

Тимофей медлил, соображая, видно, как идет стрелка на часах.

— По солнышку! По солнышку! — крикнул еще Василий.

— Так бы и сказал, — проворчал Тимофей, рванул петлей лопасть с такой силой, что Василий заопасался, как бы она не оторвалась.

Мотор не срабатывал.

— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.

— Пойдет, никуда не денется. Ты дергай, Тимофей, дергай!



Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал. Тимофей, пригнувшись, тут же отскочил в сторону, а у Василия враз перехватило горло. Потной ладонью он ухватился за ручку газа, сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие, может, от волнения, а может, и от тряски. Тряска на самом деле была сумасшедшая. Дрожало все: и фанерное сиденье, на котором уместился Василий, и тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла кабины.

Василию удалось отрегулировать мотор на малых оборотах, и теперь он привыкал к новому своему состоянию. Он глянул в окно, увидел, как мельтешит винт над головой, и от винта стелется на земле сухая трава. Желтое облачко пыли висело в воздухе, и от этого стекла кабины казались мутноватыми.

— Ну... — сказал Василий сухими губами и перевел дух.

Раньше, еще когда только думал строить вертолет, ему казалось, что полетит он легко и просто, что машина будет послушна его желаниям, повернет туда, куда он захочет. Но вот машина обрела реальную плоть, и Василий понял: дело обстоит сложнее, чем думал. За спиной — громоздкий мотор, который может не только поднять над землей, но и ударить о землю. И Василий загодя тренировался: садился в кабину, водил ручками туда-сюда, привыкал. Но тогда машина была тиха и послушна. Сейчас она была жива, перед ним все дрожало и гудело, и Василию вдруг подумалось, что Тимофей он видит, возможно, в последний раз. Но он отогнал от себя эти мысли.

Будто чужой рукой потянул на себя Василий ручку газа, замирая от нарастающего гула мотора и воя ветра, пугаясь жуткой тряски, от которой, казалось, вот-вот рассыплется легкая машина.

Грохот все нарастал, нарастал, и вдруг Василий по-

чувствовал, как вертолет легонько качнуло с боку на бок. Он крепче вцепился в ручки, инстинктивно глянул в окно и снова увидел Тимофея. Но увидел не так, как раньше. Тимофей будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх, скалящееся в улыбке лицо.

«Лечу!» — обожгло его.

Сколько ждал Василий этого мгновения, сколько перемучался и перетерпел ради него, а теперь, когда вертолет завис над землей, удивился как неожиданности. И сейчас радость нашла его, залихорадила. «Кто говорил — не полечу? Вот тебе и не фабричный! Да я, может, еще и не это могу! Гляди, Тимофей, все глядите!» Он жалел, что еще рано и никто не увидит его полета. Но все равно ведь в деревне будут говорить: «Слыхали, Васька-то, столяр, полетел!» И все его переживания и мучения, даже разлад с Варей, показались пустыми, мелкими, они сразу ушли, будто оставил их на земле. «Полетел, куда не делся, — жгло Василия. — Мы такие!»

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез, и впереди завиднелась зубчатая стена леса, словно обожженная вверху солнцем. «На лес несет», — понял Василий и стал соображать, как бы чуточку развернуть машину, чтобы пойти вдоль леса. Он слегка потянул рычаг поворота, но, такие послушные на земле, рули отчего-то не слушались. Вертолет никак не хотел разворачиваться. Кабина только склонилась к земле так, что Василий едва не сползал с фанерного сиденья, и машина двигалась прямо на лес, не поднимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под винты. Сбоку бежал Тимофей, размахивая руками; советовал, видно, подняться выше или, наоборот, сесть. Но сесть тут было нельзя — попадались пни и выворотни. Оставалось одно — подняться, и Василий уже не

замечал Тимофея, неотрывно смотрел на приближающуюся стену леса, все смелее и смелее тянул на себя ручку газа, чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, шептал спекшимися губами: «Ну, давай, миленький, давай... Подымайся туда, в небо... Подымайся, а то втешемся в сосны...»

Он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, высветленные солнцем, мягко розовели стволы сосен, а хвоя их была темна и плотна. Между ними желтели березы, и кое-где застывшим дымом серели осины, будто подернутые пылью — увядающие. Все это надвигалось на Василия, а машина, будто привязанная к земле невидимыми путями, не хотела подниматься.

«Так и правда втешемся», — понял Василий и с отчаянием рванул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет невидимые путы, бросит машину вверх, в голубую, близкую бездну неба. Но подступавшая зеленая стена не проваливалась вниз, она заслоняла собой все небо.

И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий, необычный треск над головой. Обгоняя машину, что-то сверкающее на огромной скорости пролетело к деревьям, ударилось в ветви, ломая их и срезая, и машину тотчас трянуло с такой силой, что Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он проваливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопки лопающейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом все это куда-то ушло...

С трудом Василий выполз из-под обломков своей машины. Неуверенно, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, постоял, качаясь, по колени не держали, и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с израненными сверху ветвями. В глазах мельтешило красное зарево, мешало видеть. Он хотел протереть глаза, но правая рука не поднялась и заняла, когда

двинул ею. Протер глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь его не удивила, будто была она совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое.

Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь мостилась сорока, как косила вниз пугливым быстрым глазом.

— Не видала такого чуда? — прохрипел Василий. — Гляди сколь взлетит. Не убавится. — И опустил голову.

Под ногами лежало отломленное колесо. Василий повел глазами дальше и увидел свой искореженный вертолет. Вырванный ударом, мотор валялся рядом со щепками от винта. Был мотор еще жив: в нем что-то всхлипывало и постанывало. Сверкающими блестками лежали в мятой траве осколки оргстекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, отброшенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, которым Василий заперся в кабине.

В лице Василия что-то дрогнуло.

Он поглядел на все это, разбитое, исковерканное, так заботливо и старательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал не боль и отчаяние, а облегчение.

Пинул ногой колесо с отломленной осью, которое откатилось и упало в траву, глянул еще раз на нелепо выглядывший тут оконный шпингалет и вдруг рассмеялся.

Сорока дернулась на ветви, отчаянно взмахивая крыльями, и это еще больше насмешило Василия. Он засмеялся уже громче, и эхо понесло по лесу его смех. Смеялся долго, до слез, изумляясь, что никогда раньше он так весело и щедро не смеялся. И так ему легко, так хорошо...

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданности шербаты рот, запаленно переводил дух.

Смешно было смотреть Василию на обломки маши-

ны, на перепуганного Тимофея, его качало от смеха, и он хохотал, пока не закололо в груди.

Тогда он затих и опечалился.

— Что, Тимофей, — спросил хрипловато. — Думаешь, тронулся? Нет, Тимофей, не-ст...

И медленно пошел в село.

На краю поля его встретила Варя и увела в дом.

Больничный лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз его оплачивать отказался: травма не производственная и вообще глупая. Сам виноват.

— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала гипс на сломанной руке. — Перебьемся, Вася. Вот рука подживет, и мы свое наверстаем. Правда ведь?

— Правда, — согласно качал головой Василий. — Наверстаем. — И виновато говорил: — Руки у меня будут без работы. Скорее бы уж.

И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. Варя ни в чем мужа не укоряла, будто ничего и не случилось. Иногда только спрашивала задумчиво:

— Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума решиться — вертолет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:

— Не знаю... Накатилось...

Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не вынося безделья, уходил за село, глядел на еще больше потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу.

Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала плотно, а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле — необычное творилось в природе. Давно ушел тихий, золоченый сентябрь, уже последние дни октября закатывались, а на бурю полеглую

траву, прихваченную первым зазимком, никак не ложился снег. Березы и осины стояли давно голые, с остатками вялых листьев на верхушках. Будто пристыженные они были перед соснами, ни зеленью, ни снегом не прикрытые.

Небо было серое, низкое, теплое. Ворочались день и ночь на нем тучи, уже не летние, но и не зимние, не поймешь какие. Изредка ветер пригонял заплутавшую снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял — теплая земля не принимала его.

Но иногда небо вскрывалось полынками такой неожиданно близкой голубизны, что сердце заходило непонятно отчего.

Вот такая стояла осень...



## КРАСНЫЕ ЛИСЫ

два Иван переступил порог отцовской избы, как сразу понял: его ждали. Отец и младший брат Гришка, который хотя тоже был женатым мужиком, но от родителей из-за жилья не отделялся, сидели не в кухне, где обычно ужинали в будние вечера, а в горнице за круглым столом, покрытым праздничной скатертью с кистями. Перед ними томилась непочатая бутылка водки. Налажена была и закуска: хлеб, ломти желтого, с душиком, прошлогоднего сала, квашеная капуста. Три порожних стакана стояли наготове. Также ждали.

Губастый Гришка с таким жгучим интересом уставился на вошедшего Ивана, будто незадолго до этого узнал, что его брат — оборотень, и теперь пытался разглядеть это новое братово качество. Таращит сизые лисьялые глаза, которые не сразу различишь на его поношенном, тоже будто вылинявшем лице, — не сморгнет, нижняя губа отвисла, и его шалавой ухмылочки не видеть. И столько в нем было робости перед непонятной братовой силой, что, кажется, пугни его Иван, и Гришка вылетит в окно, которое словно на этот случай и распахнуто за его спиной. Отец хотел казаться спокойным, однако в его морщинах залегла какая-то особая значительность, было в его лице что-то такое, отчего у Ивана нехорошо ворохнулось сердце.

Днем к Ивану на поле прибегал Гришкин пацан и

передал: «Деда велели прийти». В последнее время Иван старался реже появляться в родительском доме, чувствуя молчаливое стариковское осуждение. Приглашение это озаботило его и насторожило. Теперь он наверняка знал, для чего «деда велели прийти». Дураком надо быть, чтобы не догадаться. Решились, значит... Конечно, знай он точно, что именно об этом пойдет речь, так пораскинул бы мозгами, поискал бы, чем ответить. Подстилать же соломки на всякий случай Иван не умел и не любил, и раз вошел ни к чему не готовый, так что же, не поворачивать назад. Это — не по его. Готовый не готовый — деваться теперь некуда.

Иван обросил у порога на лавку замасленную телогрейку, сполоснул руки перед умывальником.

Отец сидел в черном суконном пиджаке, который когда-то был ему очень даже впору. Сиживал в нем отец в президиуме на собраниях важно насупленный, теперь же усох отец, будто жизнь уходила из него вместе с телом, и пиджак стал велик, как с чужого плеча. На груди висели две медали. Одна потускневшая — военная, другая совсем новенькая — трудовая. Ее отец получил, когда провозжали на пенсию. Да и как не награждать такого человека. Всю жизнь числился передовым совхозным трактористом, и после себя не пустое место оставил, а двух сыновей, тоже трактористов. Так что ветеран и глава династии, это понимать надо.

На отвороте пиджака, чуть поодаль от медалей сиял свежей эмалью еще красный значок дружинника. Это уж после проводов Гришка ему дома свой прицепил. Носи, мол, батя, наводи порядок. Ваш брат пенсионер это любит. А с ним в самый раз. Кого захочешь заберешь. Ради смеха прицепил, а отцу значок неожиданно понравился: с серпом и молотом. Так и не снял.

Чужеродно выглядел значок дружинника на стариковской впадой груди, но для Ивана, который сейчас во

всем усматривал особый смысл, даже и этот значок казался тут не случайным, имеющим свое тайное предназначение.

— Праздник, что ли, какой? — присаживаясь к столу, осторожно поинтересовался Иван.

— Ага. Праздник, — ответил отец сдержанно. — Веселиться сейчас будем. Жизнь больно веселая пошла.

— А мать чего же на празднике не видать? — спросил еще Иван, соображая, как быть дальше.

— К соседям послал посидеть. Радости ей тут мало будет.

— Та-ак... Понятно... — тяжело проговорил Иван, попеременно оглядывая то отца, то брата. — Приготовились, значит?

— Приготовились.

— Ну давайте, начинайте. Послушаем.

Усмехнулся натянуто, откинулся на спинку стула и руки на груди скрестил, а глаза — отрешенные. Говорите, мол, что хотите, мне все равно.

Отец откупорил бутылку, разлил всем поровну, поднял свой стакан, но чокаться с сыновьями не торопился. Косился на Гришку и как будто ждал чего-то.

Оттого ли, что отец с Гришкой сидели рядом и озабочены были одним, но Гришка сейчас сильно походил на отца. Такой же росточком невеликий, узкоплечий, можно сказать — плюгавенький мужичонко, хотя и жилистый, белоглазый такой же — в отца. Чем его не обделили, так это губами. На тронх бы хватало. Иван же, наоборот, был мужик высокий и синеглазый, будто и рост и цвет — все ему, первенцу, досталось.

Иван поглядел на подрагивающий стакан в слабой отцовской руке.

«За какие такие радости посередь будней недели?» — хотел спросить и чуть не спросил, да заметил — Гриш-

ка ему в рот смотрит, и удержался от вопроса, чутьем угадав, что лучше помолчать.

Тогда, выждав время, Гришка сам спросил:

— За что, батя, выпьем?

— А вот за жену его, за Марию! — тотчас откликнулся отец, кивая на Ивана. — Дай ей бог, чтоб выздоровела. Чтоб пацаны при живом отце сиротами не остались.

Иван хотя и догадывался, о чем пойдет разговор, но такого крутого оборота не ждал. Вздрыгнул. Водку на колени сплеснул. Рука сама собой опустила стакан на стол.

— Вы меня за этим позвали? Поиздеваться? — горько спросил он, отодвигаясь от стола.

— Ты слышал? — повернулся отец к Гришке. — За его семью пьют, добра ей желают, а он — издевается. Седьмой десяток живу — сроду такого не видел. Или, может, по-нонешнему так и надо, а?

— Со своей семьей я уж как-нибудь сам разберусь, — жестко сказал Иван, думая, что дальше делать. Слушать или встать и уйти? Можно, конечно, обидеться — и в дверь, но ведь все равно этого разговора не избежать. Пусть уж, раз начали.

— Разберешься... — продолжал отец. — Я ждатель устал, когда ты разберешься. Давай-ка, старшой, выпьем за Марию, за детей. В чем они перед тобой виноватые? Ни в чем. А если уж хочешь знать, на такую жену, как твоя, молиться надо. Другая бы давно из дому выперла, на всю деревню бы осрамила, а эта молчит и терпит. Терпеливая баба. Таких мало осталось и скоро, видно, совсем не будет. Нонешние-то бабы знаешь какие пошли?

— Это уж точно, — поддакнул Гришка. — Доведись до моей — сразу бы в рабочком. Эта бы не стала гадать, куда идти. По собранным бы затаскала, все жилы

бы на кулак вымотала. Тут батя правильно говорит. Я с ним согласный. Да только вроде бы и тебя, Ваня, кто-то заложил. Портрета твоего нету. Сняли.

Это Иван и сам знал. Напарник в поле сказал. Новость неприятно изумила Ивана. Вечером он специально прошел возле клуба, где вдоль аллейки выставлены были портреты лучших механизаторов. И там, где раньше между отцом и Гришкой находился его портрет, зияла пустая металлическая рама.

— Пускай снимают, — невесело усмехнулся Иван и потянулся за стаканом. — С трактора они меня не снимут. Зябь-то пахать кто будет? Рабочком, что ли? Такого плана, как я, им никто не даст. Еще в ножки поклонятся, если задумаю уходить. Скажи, Гришка, а? Поклонятся?

— Точно, точно. Поклонятся. — подтвердил тот и тянулся со своим стаканом — чокаться. — С тобой у нас во всем совхозе тягаться некому. Ты на работе — зверь!

Иван чокнулся с отцом, с братом, поглядел в стакан так, словно в него налито самое горе, и, решившись, вышел.

Некоторое время мужики сосредоточенно молчали — закусьвали.

Потом отец тихо сказал:

— А ведь меня вызывали туда. В рабочком-то. Так, мол, и так: разберитесь с этим делом сами, а то вопрос на повестку поставим. Позору не оберетесь. Семья ваша заслуженная, у всех на виду, вот и не хотим срамить, даем вам возможность. И еще говорят: мол, хотели разбирать заявление Григория на квартиру, а брат ему подпортил. Теперь, дескать, не знаем, как и быть. Если все тихо-мирно решится — тогда поглядим.

— Кто же это заложил? — задумался Гришка. — Неужто Мария?

— Нет, не Мария, — твердо сказал отец. — Она тут ни при чем.

— А кто тогда?

— Люди... кто... Все-то они видят, до всего-то им дело, — вздохнул отец и посмотрел на Ивана. — Ты вот, старшой, на меня вроде озлился, а зря. Будто я тебя плохому учу. А у нас в роду никто семью не бросал. Ни дед мой, ни отец, ни я. И вам не велю. Сам подумай, хорошо ли матери было бы, брось я ее с вами двоими? В молодости и у меня такое раз случилось, да не о себе, о вас подумал. Как представил, что без отца останетесь, — так и кончил свою любовь... Мать-то до сих пор ничего не знает. Вот так-то, Ваня... Теперь мне уж и помирать пора, во сне каждую ночь землю вижу, а не помирается. Как я помру, если у вас не все ладно? С позором меня земля не примет.

— Да я еще никого не бросил, — сказал Иван глухо. — С чего ты взял? На лбу у меня написано?

— Вижу... Как мне, отцу, не видеть, если чужие люди и те видят. Давно уж хотел поговорить с тобой, да все ждал, думал, сам очнешься. А тут за тебя уж рабочком взялся. Обидно мне, Ваня, обидно. Всю жизнь никто про меня худого слова не сказал, а теперь в лицо смеются: сын треплется. Не те у тебя годы, чтобы новую семью заводить. Голова-то вон седеет, где уж за молоденькой ухлестывать. Стыд один и только.

Повернулся к Гришке.

— Поддай-ка зеркало. Пусть братка на себя глянет.

Гришка притащил с комода зеркало и держал его на вытянутых руках перед братом. Иван сначала хотел заслониться рукой, потому что давно он побаивался рассматривать свое лицо, но отчего-то не заслонился.

Это было старое семейное зеркало в темной деревянной раме, и видело оно Ивана всякого. Еще младенцем с рук матери пускал пузыри своему отражению.

Потом чубчик перед зеркалом зализывал, собираясь к реке на тырлу. Клуба в деревне еще не знали. Парни и девки собирались на берегу. Почему свои игрища они называли тырлой — до сих пор непонятно. А как свою жепу Марию охаживал! Светлый чуб набок зачесет, ломаную бровь подымет, подмигнет себе в зеркало: мы, дескать, свое возьмем! И взял. Сколько возле Марии парней ни крутилось, а всех как ветром раздуло.

Да, молодое в те годы лицо у Ивана было, свежее. Привлекало оно мужской решительностью с той долей бесшабашной самоуверенности, которая должна быть у парня и которая так нравится девкам. Но когда это было! Так давно, что, кажется, и не с ним, а совсем с другим.

Было — да слыло. А теперь зеркало показало ему стареющего мужика, седоватого, с красным от ветров лицом, с морщинами у глаз и сами глаза смотрели уже не самоуверенно, как некогда, а грустно и устало. Ничего не скажешь — выцвел.

Иван усмехнулся над собой и отвернулся. Чего смотреть? Хорошего он там ничего не высмотрит.

— Так-то, Ваня, — говорил отец, наблюдая за сыном. — Видно, отгулял свое. Взять бы вожжи да отстегать хорошенько одно место. Может, поумнел бы.

— Отстегай, отец, — тихо согласился Иван и бесильно уронил голову. — Вдруг да поможет.

— С моими силами тебя, жеребца, не пронять. Хоть бы с меньшого брата пример брал. Он помоложе, а никто на него пальцем не показывает. И портрет не снимают. А ты... Девке-то, сказывают, девятнадцати нет.

— Она сама за ним ухлестывает, — вступился за брата Гришка. — Из Сосновки к нему бегают. Пять километров лесом.

— Да по мне пусть хоть за пятьдесят! — крикнул в сердцах отец. — Мы-то разве виноватые? Мария слег-

ла, пацаны мучаются. Разбирать нас будут, осрамят на всю деревню. За что ты нас так, Иван? Слышишь, нет? Неужто мы тебя без сердца родили? — Он поднялся со стула и, подойдя к Ивану, вдруг опустился перед ним на колени. Только медали звякнули.

Было это так неожиданно и нелепо, что Иван сначала даже не сообразил, в чем дело. Ему подумалось, что отцу стало плохо. Он кинулся поднимать отца, но тот отталкивал локтем. По морщинам уже скатывались слезы.

— Вот видишь, сын, — говорил отец, глядя снизу вверх. — Я на колени перед тобой встал. Сроду ни перед кем не становился, а перед тобой стою. Пожалей ты всех нас, развяжись с этой девкой. Неужто ты всех нас на нее променяешь?

— Отец, не надо. Отец, не смей, слышь! — сдавленно сказал Иван, подхватывая отца за острые локти и пытаясь его поднять, но отец не вставал, упирался.

— Пообещай, что развяжешься. Дай мне помереть как человеку. Иначе прокляну. Вот на этом самом месте прокляну, — и стучал по давно не крашенной, облезлой половине бурым, похожим на крученный корень пальцем.

Иван отпустил локти отца, разогнул спину и изумился: солнце еще вроде не закатилось, а в комнате уже стояли густые сумерки, неожиданные для этого часа. У Гришки было черное лицо, будто вымазанное сажей. Черной вспышкой сверкнуло в дальнем углу зеркало, сверкнуло и смутно о чем-то напомнило. Обгорелой головешкой покачивалась у ног голова отца.

— Пообещай, — просил отец глухо, как из-под земли. — Иначе буду так стоять, пока не помру.

Гришка хватал Ивана за рукав, шептал:

— Посуди ему. Что тебе стоит. Вишь, он еле живой. Кончится тут — всю жизнь тебе прощенья не будет.

— Ладно, — сказал Иван придушенно, лепенея от этого слова, которое, казалось, произнес не он, а кто-то другой, так не похож был голос. И опустошенно опустился на стул, будто вся сила ушла из него вместе со сказанным единственным словом.

Гришка усадил отца за стол. Тот подпер голову вздрагивающей рукой, не подымал глаз на сыновей. Молчал.

Через время спросил:

— Так, говоришь, из Сосновки бегают?

— Оттуда, — охотно отозвался Гришка. — Мужики сколь раз видели: шпарит по лесу — спасу нет. Вроде как шагом ходить и не умеет. Все бегом да бегом. Приценщик как-то погнался за ей на мотоцикле. Ради смеха. Девка в чашу нырнула, а он едва об лесину не убился. Долго матерился. Ну, говорит, лешая... Теперь не гоняются. Разве когда вдогонку свистнут — и все.

— Гляди-ка... И не боится одна по лесу?

— Значит, не боится. Раз бегают.

— Тоже, видать, отчаянная головушка, — вздохнул отец.

## 2

Ивана от всего спасала работа.

Какая бы беда с ним ни случилась, какая бы тяжесть ни легла на душу, а стояло ему прийти на поле, забраться в кабину трактора, и все житейские переживания не то чтобы забывались, но как-то неожиданно мельчали на этом огромном поле с березовым колком посредине, казались уже пустячными, не такими угнетающими, как раньше.

Да и как могло быть иначе, если работа на поле — самое главное для него занятие, главное и — святое. Сначала, по молодости, это ему отец втолковывал, но, видно, мудрость не передается, как не рождается зре-

лой пшеница. Все надо испытать от начала до конца самому — и злаку, и человеку. Потом Иван сам понял, какую великую, неиссякаемую силу таило в себе поле. Много лет отец описывал круги на своем тракторе вокруг березника, поднимая то весновспашку, то зябь, и поле кормило его и многих других людей, которых он никогда не знал и не видел. Сошел отец с круга, и его сменил Иван. Жизнь на поле по-прежнему тоже шла кругами: возрождалась, созревала и, дав семена для продолжения рода, умирала. Вечным было поле и щедрым. Оно не только кормило многих людей, но и наполняло жизнь Ивана мудрым смыслом, без которого человеку никак нельзя.

Он и сегодня шел на поле с надеждой, ждал, что дело поможет ему. В голове прояснится, душа переболит и утешится. Ведь как мелка его, Иванова, беда по сравнению с этим огромным, вечным полем.

Иван завел трактор и пустил его по загонке — во круг березника, привычным кругом. Однако на этот раз даже работа не успокаивала, не давала забыть. И чем больше день набирал силу, тем хуже становилось на душе, потому что горе не рассасывалось, а наоборот, скапливалось.

Он глядел в просвеченное солнцем стекло кабины, видел бегущую навстречу бурую стерню и впервые с тоской подумал, что по весне поле омолодится, начнет новую жизнь, а у него этой осенью что-то умрет в душе и больше уже не возродится, и от этой мысли душа противопилась предстоящему. Ему казалось противоестественным, что в конце этого звонкого осеннего дня он расстанется с Верой и больше никогда не увидится. Ни умом, ни сердцем Иван этого не мог представить. Выходило, не только работа — самое главное, есть на свете, оказывается, и еще что-то.

Когда совсем стало немоготу, он заглушил мотор,



выпрыгнул из кабины в борозду и, привалившись к капоту, над которым волнисто струилось тепло, огляделся.

Стояла та пора позднего сентября, когда в природе было уже много от осени, но и от лета еще оставались какие-то следы. Березник почти весь пожелтел, лист опадал, по окраинам колок просвечивал застывшим дымом. Только кое-где на старых корявых деревьях запоздало зеленели отдельные ветки. Но они выглядели тут случайными, на них Ивану почему-то грустно было смотреть. Летели, серебрясь, паутины в горьковатом чистом воздухе. Пахло прелью и близким снегом.

Иван постоял возле трактора и вдруг, сам не зная зачем, побрел к березнику, который стоял посреди вспаханного поля. Там, среди бурой, побитой заморозками травы, он нашел полеглые, чудом уцелевшие ромашки.

«Надо же... Не померзли», — подумал Иван с нежностью.

Нагибаясь, он срывал цветы, бережно разворачивал истончившиеся лепестки, немного увядшие, но еще сохранившие белый цвет укатившегося лета. И он вспомнил, зачем пришел сюда, на край березового колка. Именно на этом самом месте весной Вера преподнесла ему заслуженный букетик, только не ромашек — им было еще рано, а подснежников.

Удивительные это были минуты, наверное, самые счастливые в его жизни, какие бывают только однажды и уже не повторяются. Здесь на поле стояло много тракторов и из Иванова села и из соседней Сосновки. Бил дым из выхлопных труб и стелился по весенней сиреневой земле. Много было желающих победить на межсовхозном состязании пахарей, а победил Иван.

Здесь на краю колка перед судейским столом выстроили лучших трактористов и надели победителю

красную ленту чемпиона. Шибко ему завидовали другие трактористы, особенно молодые парни. И было чему завидовать. Ведь это ему самодельный оркестр сыграл туш, и фотограф из районной газеты ползал на корточках перед ним, а не перед кем другим.

А потом появились девушки с подснежниками. Тогда-то к Ивану и подошла Вера с букетиком.

Она была длинноногая, легкая и очень молодая. У нее были ярко-рыжие перепутанные ветром волосы и зеленые глаза. Ивана ее волосы и глаза сильно удивили. «Так, наверно, редко бывает», — подумал он и, сам не зная отчего, смутился. Даже забыл сказать ей «спасибо», и ушел домой встревоженный.

Цветы он пристроил в кабине у лобового стекла и часто глядел на них. Непонятно как-то было на душе: смутная радость пополам с тревогой. Обычная до этого, спокойная жизнь неожиданно кончилась, отчего Иван забоялся, даже хотел выкинуть завядшие цветы, да рука не поднималась.

А однажды под вечер, когда уже заканчивалась смена, глянул в окно и — под сердцем кольнуло. Стоит она на краю поля и на его трактор смотрит. Легкая, тонкая, рыжие волосы на ветру плещутся, как пламя костра.

Подошел к ней, посмотрел ей в зеленые глаза, и она не отвела их, и столько в них было чего-то неведомого, что Иван задохнулся, спросил первое, что на ум пришло:

— Ты чего тут стоишь?

— Нельзя? Тогда я уйду. — Она уже повернулась, и Иван спохватился.

— Почему нельзя? Можно. Только ведь холодно. Да и ветрено. Пойдем лучше в кабину.

Она склонила голову набок, ковыряла туфелькой землю. Гадала: пойти или нет?

— Боишься меня? — улыбнулся Иван.

— Нет. У вас глаза добрые.

В кабине Иван протер запыленное сиденье, и она опустилась на самый краешек. Увидела свои цветы, протянула к ним руку, трогая увядшие лепестки. Кисть у нее была тонкая, узкая, но болезненно шершавая даже с виду, в мелких красных трещинках.

«Доярка», — опытно определил Иван, потому что такие же руки, вечно шелушащиеся, в трещинах, были у его матери, пока она работала.

— Как тебя звать? — спросил он тем голосом, которым разговаривают с детьми.

— Вера, — ответила она и тут же убрала руку, заметив взгляд Ивана. Рук своих она стеснялась.

Скоро Вера запросилась на волю.

— Посиди еще, — попросил Иван. — Там же холодно.

— А здесь душно и тряско. Я лучше оттуда посмотрю, — сказала она, легко соскакивая с гусеницы. — Да и все равно уже надо идти.

— Ты еще придешь?

Вера неопределенно пожала плечами:

— Не знаю...

Высунувшись из кабины, Иван смотрел, как легко, невесомо, кажется, даже не касаясь ногами стерни, бежала Вера по проселочной дороге, и снова удивился Иван и затревожился непонятно отчего.

Через день Вера пришла опять, и они в сумерках бродили по березовому островку. С этого все и началось. Вера уже приходила часто, а когда ее не было, Ивану казалось, что на поле мертво и пустынно без рыжих Вериних волос и зеленых глаз.

А потом они сделали удивительное открытие: оказывается, в березнике жила пара лисенц, молодых, сильных зверей, у которых были маленькие, но уже взрослые лисята.

— Пойдем к нашим лисам, — иногда говорила Вера, и Ивана обдавало трепетной радостью от слова «наши». Значит, появилось у них то, что принадлежало только ей и ему и никому больше.

Затаившись на краю поля в кустах, они смотрели, как лисы учили мышковать своих лисят, как, разыгравшись, взлетали в воздух, понарошке нападая друг на друга, и мусолили друг дружке загривки. Лисы словно светились под луной.

В такие минуты в темных Вериних глазах виделась грусть.

— Какне они вольные, — шептала она тихо, одними губами.

— А мы? — с улыбкой спрашивал он тоже шепотом.

— Нам ничего нельзя.

— Почему?

Она укоризненно взглядывала на него.

— Потому что мы — люди.

— Люди... — продолжал Иван игру. — Это хорошо или плохо?

— Хорошо. И плохо...

Скоро лисы перестали их бояться, этих двух прятавшихся от других людей в березнике, видно, чувствовали какую-то их особенность, их неопасность. Только когда Иван был один, ему никогда лисы не попадались на глаза. Эту странность он давно заметил.

...Нарвал Иван ромашек, сунул их в карман телогрейки, вздохнул и пошел к трактору.

Скоро пришел сменщик, медлительный, молчаливый мужик. Непонятный какой-то человек. Приходил ли сменить Ивана, уходил ли, отработавшись, всегда на его лице лежала одинаковая усталость. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что прожил он две жизни, не меньше, доживает третью, и так ему все

надоело, что и глаза смотрят сквозь узкую шелку, не охота ему их распахивать на мир пошире. И голос у него тягучий, будто и слова он вытягивал из себя через силу.

Иван с ним близок не был. Разговаривали они редко, и то по необходимости. «Привет», — скажет один. «Привет», — откликнется другой. «Ну как?» «Все в норме».

Перекинутся этими несколькими обязательными словами, покурят вместе, потому что расходиться просто так неловко: все же напарники, и уже после этого идут. Один — к трактору, другой — домой, отдышаться.

Но сейчас Иван не торопился уйти. Слишком много в нем за день скопилось горя, не унести одному. Ему захотелось вдруг, чтобы кто-нибудь, вот хотя бы этот пожилой обстоятельный мужик, выслушал его, утешил бы теплым словом, или, если не словом, то просто молчаливым сочувствием.

Закурили, и Иван стал маяться. Он не знал, с какого боку завести разговор. Сроду ведь ни с кем своей тайной не делился. Опасался, как бы сменщик раньше времени не затоптал окурок и не принялся бы запускать двигатель.

Однако сменщик, посмотрев на Ивана, всезнающе усмехнулся. Сам спросил:

— Тяжело, что ли?

— Тяжело, — признался Иван и вздохнул.

— Дело понятное, — протянул тот. — Меня вчера тоже свояк звал. Холодильник обмывать. А я прикинул: завтра — не суббота, не воскресенье. Не отспишься, и с больной головой — на работу. Отказался, потому как похмелье у меня тяжелое...

— Да нет, я не с похмелья, — сказал Иван с досадой.

— А с чего тогда?

— У меня другое. Вишь, какое тут дело... — Иван судорожно перевел дух, решался. — Тут другое... Нынче вечером с одним человеком разойтись надо. Вот и мучаюсь.

— С женой, что ли?

— Да не с женой. С девушкой, — сказал Иван и покраснел. Слово это он выговорил с трудом. Произносить его язык не поворачивался. Когда молодой парень говорит «девушка», это одно, а из уст стареющего мужика услышать такое слово, конечно же, смешно. Иван это понимал и устыдился.

— А-а, с той самой? Которая бегаешь?

Ивану совсем стало горько.

— С той самой, — сказал он вызывающе. Он злился на сменщика за его усмешку, и в глаза его прищуренные смотрел твердо.

Но тот больше не усмехался. Сощурившись, смотрел куда-то далеко-далеко и видел, наверное, такое, чего не всем дано видеть. От этого на его лице, кроме усталости, появилась еще снисходительная скорбь.

— У тебя как с ней было? Баловство или по-серьезному? — спросил он, наконец.

— По-серьезному.

Сменщик скорбно покачал головой.

— Вот это плохо. Совсем плохо... — И даже языком поцокал. — Побаловаться мужику можно. Особенно, когда девка сама льнет. Я это понимаю. Мужичкое ведь дело — известное. Побаловался — и с него как с гуся вода. Никакого спросу. В случае чего — девка сама виноватой и останется; а не льни. Но по-серьезному нашему брату — никак нельзя. Тут уж спрос с нас, ни с кого другого... Да-а... Вот и говорю, не думаем мы. Что бы прикинуть прежде: чем закончится? Да ничем хорошим. Если тебе семью бросать и брать эту девку, то надо уезжать куда-нибудь в город.

— Куда я поеду, — развел Иван руками. — Тут у меня все.

— Ну, а в деревне вам нельзя. Проходу не дадут. Ни тебе, ни ей житья не будет.

— Житья тут не будет, — согласился Иван. — Это уж точно. — И стал разминать новую папироску.

— Ну так бросай эту девку. Сам ведь все понимаешь.

— Бросай... — хмыкнул Иван. — Хорошо со стороны-то.

— Ну ведь не нужна она тебе. Если с умом подойти. Ты скажи себе: не нужна она мне. И легче будет. Попробуй.

— Себе-то я соврать не могу, — безнадежно помотал головой Иван. — Себя не обманешь. Как ни старайся.

— Нужна, значит?

— В чем и дело.

— А жена? Ты как женился-то?

— Обыкновенно. Как женятся... Поженились, жить стали. Вроде нормально. Ни скандалов, ни ругани. Баба спокойная, хозяйственная. И накормит, и обстирает, и за пацанами пригляд хороший. Заботливая баба. Это у нее не отнимешь.

— Ну так какую еще тебе холеру надо? Раз баба хорошая?

— Вот и я так думал. Что больше ничего и не надо. А как стал с этой девушкой... с Верой встречаться, тут-то и подумал, что у меня жизнь будто и не началась. Вроде как я спал все эти годы и только проснулся. Все у нас с женой гладко шло, а вот чего-то не было... А с Верой — другое, — Иван тяжело вздохнул и покачал головой. — Совсем другое. Веришь, я даже не знал, что такое бывает на свете. Музыка появилась...

— Какая музыка? — озадачился сменщик.

— Ты песни любишь? — спросил Иван.

— Песни-то? А как же. Только до новых я не шибко охоч. Дочка как заведет этот самый... ну, как его... магнитофон, так хоть из дому беги. Орут благим матом. И все не по-нашему. Я старые люблю, душевные.

— Это само собой, — сказал Иван. — Душевные песни я тоже уважаю. А ты вот слыхал, по радио передают еще не песни, а музыку. Вроде как симфонии?

— У меня баба их сразу выключает.

— Вот и я выключал. А как-то прислушался и будто вижу, как солнышко всходит, травка из земли проклевывается, березник шумит, и птицы в нем разные поют. И так мне хорошо стало... Даже удивительно, как я раньше не понимал. Приду домой, сяду и слушаю, слушаю. Жена глядит — не поймет ничего. Рехнулся — не рехнулся? Утром идти на смену, а во мне эта музыка играет. Одна кончается, сразу другая начинается, будто какой проигрыватель во мне. Сам удивляюсь. Раньше-то я эту симфонию в упор не слышал. Передают и передают. Как вроде и не для меня. А тут — уши открылись. Да что там уши! Глаза и те по-новому видят. И вот это полюшко, — Иван обвел рукой вокруг себя. — с малолетства знаю, а только недавно и разглядел, какое оно красивое... — Иван судорожно затянулся папиросой. — Ты только не насмехайся. Может, тебе и смешно, а все равно — не надо.

— Я и не насмехаюсь, — отозвался сменщик, скорбно глядя в свое далеко. — Я тебе очень даже верю.

— Конечно, — продолжал Иван, — если с умом подойти, так все это — мне нельзя. Я ведь из ума еще не выжил. Понимаю, что семейный. И жену жалко, столько ведь лет прожили. И сыновей растить, поднимать на ноги надо. Да только как подумаю, что и музыку, и все

такое надо будет сломать в себе — душа на дыбы встанет. Не хочет... — Иван проглотил горький комок и замолчал. Лишь вздохнул тяжело.

Сменщик тоже вздохнул, глядел на Ивана сочувственно, как на больного, и глаза у него были такие всезнающие и безнадежные, что у Ивана холодок прошел под рубахой.

— Сказать, чем кончится? — тихо спросил сменщик и едва заметно усмехнулся в пространство.

— Чем? — спросил Иван трудным голосом и весь напрягся в ожидании.

— А ничем.

— Как — ничем? — огорошился Иван.

— Ничем, и все. Как было, так и останется по-старому. Жизнь-то — она посильнее нас с тобой. Не таким рога сламывала. Помучаешься-помучаешься, да и будешь пахать свою зябь. Все переживешь. Никуда не денешься...

— Ну спасибо. Утешил, — с горечью отозвался Иван.

— А ты что хотел? Другое услышать? — проговорил задумчиво сменщик. — Я говорю, как будет. Помянешь меня потом.

Иван затоптал окурки.

— Легко тебе жить. Все-то ты наперед знаешь. Где упасть, так и соломки заранее подстелишь.

Сменщик — словно не слышал. Молча достал из кармана сыромятный ремешок, сосредоточенно намотал его на вал пускача и обернулся:

— Не ты первый, не ты последний. Время все перепашет. Как этот трактор. — И в сердцах рванул ремешок, отчего пускач пронзительно, по-мотоциклетному затрещал, окутываясь синим дымом.

«Поговорили, называется», — досадовал Иван по дороге к дому. Настроение у него совсем испортилось.

Жил Иван на краю села. Не старый еще был у него дом, всего семь лет как поставил, а уж потускнели бревна от дождей и ветров, краска на крыше облезла. От этого дом казался серым и каким-то беспризорным. Оторванный лист железа свисал с карниза. Давно его оторвало ветром. По ночам он гулко хлопает по крыше, словно будит хозяина, а у того руки не доходят — залезть и прибить. Ключья черного, пересохшего мха торчат между бревен — повылазили. Самое бы время перед зимой-то подконопатить стены паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих пор как незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас только он поглядел пристально и увидел свой дом прохудившимся, неухоженным и беспризорным, будто и мужика в нем нет.

Сыновья были дома. Готовили уроки. Подняли глаза на вошедшего отца и снова опустили в книги, словно не отец пришел, а совсем чужой человек.

Иван не обиделся. Привык. Он и сам себе иногда казался постояльцем в родном доме. Заходил тихо, ступал по половицам нетвердо, осторожно, как в гостях. Умылся молча и стал переодеваться в чистое.

— Есть будешь? — спросил старший ровным голосом, не поднимая головы и явно не ожидая никакого ответа.

— Не хочу, — хриловато ответил Иван. Он и на самом деле не хотел есть. Ничего в горло не лезло. Потерянно топтался посреди комнаты. — Как мать?

Сыновья, ни один, ни другой, не ответили, словно воды в рот набрали. С показной старательностью уткнулись в книги. Прилежание — куда с добром. Всегда бы так, а то Иван знал, что и пятиклассника Ваську, и третьеклассника Мишку учителя не больно-то хвалят. Совсем избегались. Не более нынче мать, носились бы по улицам.

«Ну постойте, я за вас еще возьмусь», — подумал Иван, и ему даже как-то полегчало от этих мыслей. Он прочнее, по-хозяйски увереннее почувствовал себя здесь, посреди комнаты, возле сыновей, и к жене в спальню прошел, уже твердо ступая по половицам.

Мария лежала в кровати с открытыми глазами, видимо, прислушивалась, как там, в комнате. Увидела мужа, и слабая улыбка обозначилась на ее исхудавшем лице.

Он сел на край кровати, положил ладонь на влажный лоб жены и заглянул ей в глаза прямо и просто, как раньше, когда у них все было хорошо.

— Ну как, Мария? Болит-то что?

— Ничего не болит. Слабость... — проговорила она еле-еле.

— Вставала сегодня?

— Не-ет... Голова шибко кружится.

— Ничего, Мария. Поднимем мы тебя... Поднимем... — проговорил он, оглядывая жену с ласковой заботой.

— Да уж скорее бы. Разлеживаться-то некогда. Мальчишки все оборвались. Ты необстриженный ходишь. Совестно мне лежать, когда хлопот столько...

Иван промолчал, погладил только жидкие, слипшиеся волосы жены, мысленно винясь перед ней. Да-а, что и говорить, на самом деле — редкая у него была жена. Все-то она знала, догадывалась сейчас, зачем на нем новый пиджак и белая рубашка, и — ни слова. Это Ивана всегда мучило больше, чем если бы она укоряла его, стыдила. Нет, ничего подобного он от Марии не слышивал.

И сейчас она тоже — молчала. Лишь смотрела жалобно и покорно, как ребенок. Похудела... Лицо у нее и раньше-то было маленькое, теперь совсем детское стало. Одни глаза на нем жили, сторожили каждое

мужнино движение, и столько в них было боли и ласки, что у Ивана все внутри переворачивалось.

Он шевельнулся, и Мария высвободила из-под одеяла слабую свою руку, на ощупь нашла мужнины пальцы, держала их.

— Я скоро вернусь, Мария, — сказал он тихо и значительно, стараясь, чтобы жена глубже поняла эти слова. — Все у нас будет нормально. Вот увидишь.

Она закрыла глаза. Веки ее вздрагивали.

— Я скоро приду, — повторил он и почувствовал, как жена медленно отпустила его пальцы.

Когда Иван вышел из спальни, Васька уже возился с кастрюлей, видно, собирался что-то варить. Иван смотрел на него. Длинный вырос парень, весь в него. Движения быстрые, порывистые. Отрошенные космы на голове аккуратно зализаны на пробор. Наверное, уже и на девок поглядывает. Мишка по-прежнему сидел за столом, держал в руках «Родную речь» так, будто загоразживался ею от отца. И тот и другой выглядели настороженными. Ждали, что отец дальше будет делать.

— Врач был? — негромко спросил Иван.

— Был, — нехотя ответил Васька.

— Что он сказал?

— А что он скажет... Укол сделал.

— Только и умеют, — проговорил Мишка, по-взрослому наморщив лоб. — Всю искололи. А что толку?

— Ничего-о, — проговорил Иван. — Все будет нормально. — И шагнул к порогу.

— Ты пошел? — спросил Васька.

— Пошел.

— Ночевать-то придешь? Или можно запирается? Иван задержался у порога.

«Совсем чужие стали», — с болью подумал он, и ему захотелось подойти к Ваське, сжать его в своих руках,

с отцовской нежностью растрепать светлые космы, да знал: сын ласки не примет, кольнет ледяным словом.

— Проводи меня до калитки, — попросил он вдруг, чтобы наедине обнадежить его, успокоить.

— Некогда мне разгуливать, — отозвался тот хмуро. — Мамке молока вскипятить надо.

— Дров принести? — спросил еще Иван.

— Сами принесем. Иди.

3

Раньше Иван уходил к Вере не сразу и ненапряжик. Сначала он выходил во двор как бы размяться, подышать свежим воздухом перед сном. Потоптавшись во дворе, с медлительностью хорошо поработавшего человека, умиротворенного удачным днем, вразвалочку направлялся к калитке. Нехотя отворял ее, вроде бы интересуясь, как там жизнь за воротами.

Равнодушно глядел в один конец улицы, на поскотину, которая начиналась недалеко от дома, и если никого из соседей видно не было, двигался к поскотине. Тоже — неспешно, будто прогуливаясь. И потом, еще раз оглядевшись и не найдя к себе постороннего интереса, нырял в полоску березника, окружившего село, словно пояском.

Так было раньше. А сейчас Иван прямо от крыльца, нигде не задерживаясь и не озираясь попусту, крупно шагал через поскотину к леску. Глядите, соседи, кому шибко интересно. Ему уже все равно. Ничем не испугаешь. Да что там — соседи. Иван спиной чувствовал, как смотрят на него в окно сыновья, и все убыстрял шаги, хотел поскорее раствориться среди деревьев, чтобы не жгли ему спину сыновьи глаза.

Скоро он шел уже среди берез, но легче ему не стало, наоборот, начало чудиться, что за ним кто-то

идет. Уж не из сыновей ли кто? Нет, сыновья не пойдут — гордые. Кто же тогда?

В березнике было светло, солнце еще висело на ладонь от земли, косо высвечивало стволы. Иван посмотрел назад, но никого не увидел. Показалось ему, что ли? Вроде не показалось. Пока он стоит — тихо, а стоит пойти, и сзади слышно, как шуршит трава, похрустывают сухие веточки. Кто же это там такой любопытный? Посмотреть бы на него.

Решил схитрить. Он пошел быстрее, почти побежал и потом, прыгнув в сторону, притаился за корявой березой.

Ждать долго не пришлось. Еще и отдышаться не успел, как увидел крадущегося по кустам мужика. Пригляделся — и чертыхнулся от изумления. Это был Гришка.

— Ты гляди — попутчик! — почти ласково сказал Иван, выходя из-за дерева и заступая брату дорогу. — И далеко собрался?

Гришка растерялся, виновато заморгал короткими, белесыми ресницами. Никак он не предполагал, что его самого тут подкараулят.

— Дак я с тобой. Чтоб, значит, не одному, — затопился он, оправдываясь.

— А зачем ты мне? Для какой такой нужды? — спрашивал Иван, едва сдерживаясь, и положил на плечо Гришке свои цепкие пальцы. — Боишься, из-за меня квартиру не дадут?

— Да ничо я не боюсь. Я только напомнить и шел-то.

— Что напомнить?

— Зачем идешь, чтоб помнил. А то сам обнадежил старика, а сам вдруг возьмешь и передумаешь.

Иван затвердел лицом.

— Я же слово дал. Ты разве не слышал?

— Слово... — ухмыльнулся Гришка. — Мало ли каких слов я могу наговорить. По пьянке-то. Успевай только слушай.

— Ну вот что, — проговорил Иван прерывистым голосом. — Ты мне хотя и брат родной, а если еще нос высунешь — не обижайся потом. Ой, не обижайся... — Он так сжал Гришке плечо — едва кости не захрустели. — Я тебе это говорю, чтоб потом обиды не было. — И не оглядываясь, двинулся дальше.

Узенький этот лесок уже редел, сквозь него проглядывало поле с черной полосой пахоты. Издали, вывернув из-за березового островка, навстречу шел трактор, таща за собой бледное облачко пыли.

«Зябь пахать...» — мысленно усмехнулся Иван, идя по пахоте к березовому колку и наверняка зная, что из кабины на него таращится сменщик. — А в этом худого ничего нету. Земля — она и есть земля». И едва перешел вспаханную полосу, как границу, так и забыл сразу о Гришке, о сменщике, будто их и на свете не было. Он пошел медленнее, шурша жухлыми листьями и слыша в душе печальную музыку, которая все эти дни жила в нем, то замолкая, то появляясь снова. Глядя в просветы между березами, искал глазами Веру.

Она всегда появлялась неожиданно, всегда не с той стороны, с какой он ее ждал, и Иван никак не мог к этому привыкнуть. Думал, увидит ее впереди, а она показалась сбоку.

Мелькая между тонкими стволами, рыженькая, длинноногая, она легко бежала к нему в светлом плащике. Казалось, даже не бежала, а летела над землей, не касаясь ногами ни листьев, ни трав, и у Ивана зачастило сердце.

Он уже знал: сейчас Вера увидит его и остановится, как пугливый зверек. Оглядит его издали и уж потом приблизится тихо и застенчиво. Осторожно и неумело,

как впервые, коснется своей рукой его руки — поздороваются.

— Что же ты в белом плащике в лес приходишь? — спросил он с ласковой укоризной. — Запчакаешь или порвешь. Заругают дома.

— Но ведь я к тебе иду...

Он бережно обнял ее, нарядную, праздничную, пригладил растрепавшиеся от бега волосы.

— Чудо ты мое рыжее, неожиданное... Знаешь, ты похожа на какого-то лесного зверька. А вот какого — никак не догадаюсь.

— На лисицу, — сказала она, смеясь. — Я ведь рыжая. Мне даже иногда кажется, что когда-то давно... много веков назад я была лисицей. Правда-правда так кажется. Я их и люблю поэтому. Ведь они мне — родня. Давай их поищем.

Иван, глядя на нее, улыбался, и в ее зеленых глазах мелькнул легкий испуг.

— Ты что смеешься?

— Ничего. Мне хорошо. Когда я тебя вижу — мне всегда хорошо. — И он достал из кармана пиджака смятый букетик.

Вера понюхала цветы, которые ничем не пахли, а если и пахли — то соляркой. Проговорила задумчиво:

— Наверное, самые последние.

— Последние, — как эхо отозвался Иван, подумав, что под этим словом понимает гораздо больше, чем она. Вот ведь как получилось: она с ним встретилась подснежниками, а он с ней прощается осенними ромашками. У нее — весна, все еще впереди, а у него — осень поздняя. Вот какой негаданный, горький смысл обнаружился в цветах.

— Вера, — сказал он тихо. — Поцелуй меня.

Склонив голову набок, она удивленно на него посмотрела.



— Ты меня об этом никогда не просил.  
— А сейчас прошу.  
— Почему?  
— Не знаю.  
— Разве тебе так плохо?  
— Хорошо и так, — сказал он потускневшим голосом. — Раз не хочешь, то и не надо.

Теплой ладонью она провела по его щеке.

— Я не могу, — в голосе сквозила боль. — Я боюсь к тебе прикасаться. У меня внутри так, будто я тебя ворую. Ты только не сердись, что так говорю. Ведь это правда. А еще мне кажется, что если я поцелую тебя, что-то меня обязательно накажет за это. Обязательно...

— Кто? Бог, что ли? — Иван еще нашел в себе силы усмехнуться.

— Зачем бог... Не бог, а что-то другое. Которое не терпит неправды. Ведь есть же что-то такое на свете, — Вера повела рукой вокруг себя, — в деревьях, в траве, в листьях, в земле, в небе, в воде. Везде. Может, это сама жизнь.

— Ты хорошая, Вера, — сказал он задумчиво. — Лучше меня, — и заметил на обнажившейся ее руке чуть повыше запястья темный кровоподтек.

— Что это? — похолодел Иван.

— Мамка...

— Из-за меня? — И ждал ответа затаив дыхание. Но, ничего не дождавшись, приник губами к ее руке, и почувствовал солоноватый вкус крови.

Внезапно Вера выдернула руку, напрыглась.

— Смотри! Вон они!

Иван поднял затуманенные глаза и увидел лисиц, которые, выскочив из кустарника, катились по желтой стерне к низкому красному солнцу, коснувшемуся уже краешком горизонта. Самец бежал немного позади сам-

ки, не вырываясь вперед и не отставая — как привязанный, и Ивану подумалось, что он нарочно так бежит, прикрывая подругу от всякой случайности. Пальцы в них сейчас картечью, и весь заряд придется ему.

Расстелившись по полю, лисы уходили к красному солнцу, и сами они были красные от закатных лучей, будто это два маленьких солнышка катились к большому. Сильные и вольные, живущие, как велит природа, они скоро слились с солнцем и так же, как солнце, исчезли, растворились, отчего на поле стало холодно и пустынно.

Люди проводили их долгими, мечтающими взглядами.

— Были бы мы лисами... — выдохнула Вера. — Побежали бы далеко-далеко, к солнцу. Правда ведь?

— Правда...

— Мне всегда снится, что я куда-то бегу и бегу, в какие-то новые места. А проснусь — никуда не убежала. Так и осталась, где была... А знаешь, лисы как-то не так бежали, — заговорила Вера с тревогой. — Будто насовсем убегали. А вдруг они больше не вернутся?

Иван промолчал и обнял ее.

Но Вера, освободившись от его рук, к чему-то прислушивалась. Позади в кустах, уже накрытых сумерками, что-то прощуршало.

— Ты слышишь? — прошептала Вера испуганно. — Что там?

— Кто его знает, — ответил Иван как можно равнодушно. — Чей-нибудь теленок забрел.

Иван нашарил под ногами тяжелый, влажный сук и, вкладывая в размах всю боль и горечь, пустил в кусты. Там что-то шарахнулось, затрещал валежник и затих в отдалении.

— Я же говорил — теленок.

Стоял, тяжело дыша. И уже понимал: пора...

Вера успокоилась, прислонилась головой к его плечу.

— И чего ты во мне нашла? — вдруг спросил Иван холодным и чужим голосом. — Я ведь старый для тебя.

— Ты добрый и сильный, — улыбалась она в темноте. — И руки у тебя нежные.

— Какие там нежные. Железо только и привыкли держать... Неужто у вас в совхозе парней хороших нету? — проговорил он и замолк. Не его это были слова, чужие.

Вера отстранилась, напряженно всматриваясь в его лицо.

— Вера, знаешь... — начал Иван, но Вера прикрыла его губы теплой, вздрагивающей ладонью.

— Не надо... Я знаю. — И Иван почувствовал на щеке едва осязаемое прикосновение ее губ. — Это тебе на счастье.

— Какое теперь счастье, — проговорил он с надсадой и уже больше ничего не сказал, только смотрел, как медленно таяло в темноте светлое пятнышко Вериного плаща.

Иван долго стоял в оцепенении, облокотившись о ствол березы, и даже не двинулся, когда осторожно подошел Гришка и стал дожидаться, пока брат придет в себя.

— Все... — проговорил отрешенно Иван и взглянул на брата. — Теперь тебе будет квартира.

— Отшил? — оживился Гришка. — Ну вот, теперь ты — человек. И правильно. Не вешайся на чужого мужика. Только чо долго? Сказал бы сразу, дескать, так и так: поигрались и хватит. А то рассусоливал.

— Ты меня выведешь, Гришка. Двину я тебе, — пообещал Иван.

— И так чуть не угробил. Возле виска пролетело.

— А зачем высовывался?

— Ну как зачем? — Гришка ухмылялся в темноте. — Интересно было, что ты с ней делать станешь. Слышь, Ваня, у тебя с ней хоть было?

— Что было? — не сразу понял Иван.

— Ну... это самое.

Иван посмотрел на него с жалостью:

— Ни черта ты не понимаешь...

— Где уж мне понять, зачем мужик к бабе ходит, — усмехнулся Гришка, но Иван на него уже не обращал внимания.

Сказал глухо:

— Нехорошо мне. Будто убил кого-то.

— Кончай, Ваня! Что ты! — заговорил укоризненно Гришка. — Неужто так можно убиваться, Я дак из-за своей жены так не переживаю, а ты — из-за девки. Не-ет, я со своей — мертво. Чуть она на меня окрысится, я тихо-мирно к какой-нибудь бабенке на вечерок, — Гришка заговорщицки хихикнул. — Сделаю свое дело — и домой как ни в чем не бывало. А сам думаю: а не раскрывай на мужика рот. Вот так-то... Да кодной и той же не хожу. Они ведь привязчивые, чисто кошки... Слышь, пойдём ко мне. У меня в огороде бутылка спрятана. Верись, баба диву дается, — с удовольствием рассказывал Гришка. — Сижу, значит, дома. Трезвый, как дурак. Ну и это... в огород, значит, выйду, будто по надобности, а вертаюсь уже нормальный. Всего-то на две минуты выйду, а честь честью. Ветром качает. Баба ничего понять не может. Батя — тоже. Пойдем врежем.

— Мне с этого еще хуже будет.

— Ну гляди, я ведь хотел как лучше.

— Ты вот что... Иди-ка домой. А я еще погуляю.

— Как же я тебя брошу? — не согласился Гришка. — Ты ведь мне как-никак брат родной. Я тебя, как

некоторые, ни на какую девку не променяю. Давай погуляем вместе. Куда пойдём-то?

Иван рассеянно пожал плечами.

— Я и сам не знаю.

— Ну давай здесь побудем, — покладисто согласился Гришка. — А только бы лучше в огород. Чего мы трезвые, как дураки. — Он сплюнул с досады, попытался сесть на пенек, да неудачно — о сучок оцарапал ногу.

«Ну вот и все», — только и подумал Иван.

Было тихо, и в этой тишине он слышал, как неустанно тарыхтел трактор на поле да негромко матерился Гришка.

4

А сменщик-то оказался прав.

Никуда Иван не делся, так же пахал зябь, как и раньше. Вроде успокоился. В семье налаживалось. Портрет на аллее передовиков опять появился — между отцом и Гришкой. Но, проезжая на своем тракторе мимо совсем оголившегося березника, возьмет и посмотрит на то место, где весной Вера преподнесла ему подснежники. В самом глубоком и тайном уголке души теплилась непонятная надежда, что если не на этом круге, то на каком-нибудь другом мелькнут на краю поля рыжие волосы, похожие на пламя костра. И хотя он понимает умом, что никого не увидит тут, на холодном, пустом поле, с которого улетели даже птицы, что и ждать-то нечего, а все-таки нет-нет да и оглянется на то место.

Оглянется — и дальше. Закладывать новый круг.



## ВОЛЧЬЯ КРОВЬ

1

Когда солнце, скатываясь к перелескам, обожгло верхушки берез, матерый поднял голову из лунки и прислушался. Это был крупный волк, красивый в своей силе и зрелости. Шея тугая. На бургристом костлявом загривке топорщилась жесткая голубоватая шерсть, металлически поблескивала на солнце, и от этого волк казался очень прочным, отлитым из упругой голубой стали.

Кончики рыжеватых ушей подрагивали на широколобой голове. Левое ухо было рассечено надвое, что придавало волчьей морде выражение суровости. Но глаза спокойны-мудры. Осенью гасил на спине полужадушенного ягненка для волчат. Из предосторожности к логову шел безлюдной обычно, болотистой низиной. Там в то раннее утро случайный охотник поджидал уток. Увидел пробегающего неподалеку волка — пальнул вдогонку.

Заряд подарил ягненку легкую смерть, избавил от мучений в молодых, неумелых зубах. Одна картечина ужалила и матерого. Рана быстро зажила, затянулась льской черной кожей, и теперь, казалось, у него три уха. И каждое слушает и сообщает хозяину, что творится на этой снежной равнине, побитой ржавыми веснушками кустарников и островками берез, расстелившихся застывшим дымом.

Поднимал он голову умышленно медленно. Показывал своей неспешностью отдыхающей семье, что не встревожен ничем. Просто день кончается, пустой желудок льнет к хребту, заставляет думать о добыче. Все это поняли и глядели на матерого из снежных лунок со спокойным ожиданием.

А он — слушал. Долго слушал, внимательно. Окаменел весь. Плотно сомкнул челюсти и дыханье задержал. Всеми тремя ушами слушал, каждой шерстинкой.

Наступал особый вечерний час, когда одни звери и птицы готовились к ночлегу, другие — к охоте. Но все они пока притихли по норкам, ложкам и гнездам. Ждали, когда минует стык дня и ночи, и каждый займется своим делом. Только далекая сорока нарушала безмолвие этого часа: возмущенно стрекотала в березнике.

Волк сел и огляделся. Обшарил глазами ржавый кустарник, завязший в рыхлом снегу и уже распластавший по сугробам тонкие ломаные тени. Осмотрел каждый бугорок: не тронут ли чужими следами, пригляделся к далекому взгорку с забежавшими на него березами.

Там густое и теплое мартовское солнце барахталось в паутине голых ветвей, не могло выпутаться и медленно оседало вниз. Над солнцем и леском кружили несколько ворон. Видно, успели чем-то поживиться и созывали сородичей.

Матерый широко зевнул и потянулся на лапах, с хрустом разминая кости. И сразу зашевелилась вся семья. Поднялась волчица, стряхивая с округлого живота комочки талого снега. Вскочили из лунок чуть поодаль два переряка и три молодых волка. Молодым надоело лежать во время дневки и они, скалясь в улыбке, лезли к матери, заигрывали. Небольшо хватали за шею, мусолили шерсть.

Волчица недовольно изворачивалась. Показывала белые, аккуратные клыки: у нее постоянно сосало в животе от голода.

Матерый строго глянул на переряков, затеявших веселую возню, оттолкнул грудью льнувших к матери молодых. Фыркнул, прочищая нос для новых запахов, и, широко раздвигая пальцы лап, пошел по рыхлому снегу, к березнику, над которым висели вороны.

Отойдя немного, пропустил вперед всю семью. Волчице положено идти впереди, она не подведет стаю: опытна, осторожна. Перерякам — материнский след торить, чтобы молодые не выбились из сил раньше времени. Матерому же — беречь стаю с хвоста.

Встречное солнце слепило. Матерый часто оборачивался, оглядывая почерневшие кусты, и даже тогда чувствовал кожей, как пылал березник, просвеченный густым солнцем. Боковым зрением он видел четкие синие тени обочь следа, когда волчица брала в сторону, обходя занесенные снегом буераки, и на его морде появлялась недовольная гримаса.

Тени не отставали ни на шаг, и он хотел, чтобы солнце поскорее скатилось к подножьям деревьев, потухло, как головешка от охотничьего костра. Тогда их тени исчезнут. Они сами станут теньями, наступит их, волчье время.

Волчица шла не быстро. Она была уже тяжела, да и лапы увязали в глубоком, набухшем снегу. Бока ее потемнели от пота, шерсть слиплась. Из приоткрытой пасти свалились клочки пара. Но березник был уже совсем близко. Над ним по-прежнему кружили вороны и ныряли вниз, и волчица прибавила ходу. Молодые приотстали, сбиваясь со следа, и отец их легонько подталкивал. Он не любил, когда семья растягивалась: так она более заметна.

По березнику проходила хорошо накатанная дорога.

Ржаво поблескивала санной колеей, чернела комьями конского навоза. Посреди дороги, будто ветер ворошил лохмотья, копошились вороны, склевывая овес, просыпанный мужиками. Неподалеку на низком суку березы трещала сорока. Ее не подпускали к поживе.

Увидев волков, вороны перестали клевать. Замерли, выжидая: может, пришельцы обегут их стороной. Но те уже перемахнули через ноздреватый придорожный сугроб и, пригнувшись, — к ним напрямик.

Вороны неохотно взлетели. Покружили и стали моститься на верхушках берез, кося вниз тусклым глазом. На всякий случай убралась подальше и осторожная сорока.

Волки подобрали овес, покрутились — больше ничего нет и побежали по дороге мелкой рысью, пригнувшись к конским котухам, к смерзшимся ошметьям силося.

Хорошо бежать по гладкой дороге. Ноги сами несут. Не вязнут, не скользят. Эту дорогу матерый любил. По ней в трескучие морозы, когда на лесную добычу надежды не было, бегал в деревню и всегда возвращался с поживой, не оставив следов. Если же недалеко отсюда свернуть в сторону, мелкоснежной бровкой легко добраться до заболоченной низины. Там, в тальниковых кустарниках, часто кормятся и устраивают лежки лоси. Вечер нынче теплый. Снег размяк — неслышный. Слабый ветерок дует — как раз для охоты.

Повеселел матерый, хвост вытянул со спиной ровень. Добродушно поглядывал на переярков и молодых. А они играли на ходу. Весело скалясь, кидались друг на друга, хватали за горло. А что им не играть, не радоваться жизни, если наступает их время жить?

Волчица и та улыбается приоткрытой пастью. Учужла запах подтаявшей за день земли, взволновалась. Скоро заляжет она в старой своей норе у высокого реч-

ного берега. В страхе и радости станет ожидать нового потомства.

Лето — время сытное, доброе. Поведет она головастых, неуклюжих волчат на ягодную поляну — животы укреплять, и не надо будет следы запугивать. Летом все равно: злой ли пробежал зверь, добрый ли — примятая трава расправится, всех покроет.

Солнце уже затухало под деревьями, когда матерый услышал впереди скрип полозьев, бречанье лошадиных сбруй и тонкие людские голоса. Волчица резко осадилась, так, что переярки смаху налетели на нее. Она отпрыгнула в сторону. Оглянулась на матерого, тяжело дыша.

Из-за поворота вывернулись и катились под уклон, навстречу волкам три подводы, косо высвеченные последними лучами солнца. Длинные, уродливые тени лошадей и санных воев скакали по сугробам. От этого и лошади и подводы казались неправдоподобно огромными, страшными.

Волчица высоко задрала морду, втягивая ноздрями влажный воздух. Ветерок обогнал обоз, принес сладковатый запах лошадиного пота и прелого сена. Волк разглядывал нарастающие подводы. Вozy невысоко горбились сеном. На головном и последнем болотными кочками лежали мужики в шубах. Под руками — ничего, лишь вожжи.

Матерый не почувствовал опасности и решил поблизости переждать, пока проедет обоз. Он сошел с дороги, сел в снег под березой. Волчица устроилась рядом. Каждой мышцей напряжинилась. Уже не за себя боялась, за будущих волчат.

Переярки и молодые нерешительно топтались перед родителями, и волк показал им зубы. Те покорно спрятались за спинами старших. Сбились плотной кучей, исподлобья глядя на дорогу.

Головная лошадь вдруг захрапела, вразной забила копытами. Норовила вырваться из оглобеля, но сани катились под уклон, не давали остановиться.

Мужик встрепенулся на возу, вскочил на колени, разметав полы шубы. Что-то прокричал тонким, испуганным голосом другому мужику. Задний возница тоже вскочил, закричал, замахал руками. Теперь все лошади храпели и бороздили подковами накатанную дорогу, пытались остановиться.

Передний мужик горланил не уставая, отчаянно раскручивал над головой концы вожжей. Его лошадь, дико закатив глаза и дрожа всем крупом, лезла на грязный сугроб, застревая ногами в глубоком снегу. Но в это время другая налетела на ее воз, зарылась мордой в сено, заржала от боли и страха.

Передняя инстинктивно дернулась, сани подтолкнули ее, она боком вырвалась из сугроба и понесла вперед, кося белым глазом на сидящих в каменной неподвижности волков. Седок от рывка едва не свалился назад, под копыта следом бегущей лошади, но успел зацепиться за веревку и пластом лежал на возу, верещал пронзительно, как загнанный насмерть заяц.

Пронесаясь мимо волков, оставил на них молодое большеротое лицо, искореженное страхом. Свободной рукой раскручивал вожжи над головой. Ждал: вот-вот стая метнется наперерез его саням. И вон тот, пока еще неподвижный зверь с толстой шеей, прямо и просто глядящий на него, первым взлетит к горлу коня, хрястнет челюстями, и вся стая насыдет на бьющуюся в судорогах лошадь, и неизвестно, что будет с ним самим.

Однако стая не шелохнулась, и на лице, на котором, казалось, остался один черный кричащий рот, мелькнула надежда. Проскочив опасное место, он долго еще глядел назад. Вторая лошадь не отставала, норовила

спрятать морду в сено переднего воза — так ей было спокойнее.

Когда пронеслись третьи сани, возница, отчаянно свистнул, сорвал с головы шапку, пустил в волков. Молодые шарахнулись от летящего к ним предмета, напоминающего мертвую ворону, завязли в снегу. Обоз пролетел мимо, обдав волков снежной пылью из-под копыт, запахом прелого сена и лошадиного пота.

Человеческий крик еще долго дрожал над дорогой и потерялся за поворотом. Тогда матерый подошел к черневшей в снегу шапке, обнюхал ее издали. Переярки и молодые жадно нюхали, загравки их щетинились.

Солнце совсем потухло, и волки стали теньями. Осмелели и уже по-хозяйски трусились по дороге. Наступило их время жить. Зайцы, лисы, все крупные и мелкие звери в этом лесу и в этой степи теперь принадлежали волкам. Днем человек тут хозяин, ночью — они. У человека нет врага, кроме волка, у волка — кроме человека. Возле своротка они уступили дорогу грузовику, который, гремя пустыми флягами в кузове и мигая красным глазом, исчез за перелеском.

Стемнело, когда стая подошла к спуску в заболоченную низину. Волки сели под гребень снежного надува, глядели вниз. Там было сыне, сумрачно. Заснеженный луг темнел расплывчатыми островками кустарников. Дальше луг переходил в пойму реки, и там все было растушевано мраком.

Матерый потянул носом воздух. Из низины дул сырой ветер, пустой, без запаха живого. И матерый, не мигая, глядел вниз, в синеву, ожидая, когда глаза привыкнут к местности и мраку и он увидит еле приметные лисьи стежки и глубокие следы лосей. Следы он скоро обнаружил и по ним понял, что лоси на ночь пришли из поймы и расположились где-то в кустарниках. Он искал их, заостенев на месте. Волчица тоже искала.

И вдруг ее уши дрогнули. Внизу, с краю кустарника прошеуршала ветка. Глаза волков привыкли к темноте, до мельчайших подробностей запомнили расположение отдельных кустов, уши слушали тишину, и слабый звук не мог остаться незамеченным.

Снова чуть дрогнули уши волчицы. Она подавала знак. Но волк уже и сам видел, как неестественно склонилась одна из ветвей. Видимо, лось, ворочаясь, задел головой куст.

Волчица скосила глаза на матерого. Его взгляд разрешал. И она мягко двинулась вперед. Рыхлый снег был тих, скрадывал звук шагов: не скрипел, не хрустел, податливо оседал под тяжестью тела. Склон миновали быстро и потом долго еще шли гуськом по глубокому снегу луга, маскируясь за редкими кустами.

Когда впереди замаячили те самые кусты, волчица легла, наострила уши. Теперь сырой ветер нес запах влажной лосиной шерсти и помета. Глаза матерого стали колючие.

Дальше волки поползли, прячась за снежными неровностями, глубоко вминаясь в снег, ни на минуту не выпуская из поля зрения тальниковый кустарник.

Было уже недалеко, и матерый нарушил строй, лег рядом с волчицей, чувствуя прикосновение ее теплого бока. Лежали, слушая. Но кругом было тихо.

Он лизнул ее холодный нос и пополз, чтобы обойти кустарник с тыла и отрезать лосям путь отступления в пойму. За ним неслышно двинулись молодые. Потянулись было за отцом и переярки, но мать остановила их взглядом. И они покорно легли, положив острые морды на вытянутые лапы.

Волчица, прижав уши, неотрывно следила, как ползли матерый и молодые. Они были совсем не приметны. За ними тянулась синеватая бороздка, плавной дугой очерчивая кусты. И когда три серые тени замерли впа-

деке, растворились, поползла и матерая, чувствуя за тылком теплое дыхание переярков.

Кусты наплывали, разрастались. Сильный лосиный дух шекотал ноздри, пьянил. Вдруг зашуршало в черноте кустов, и на фоне снега показался силуэт большой горбоносой головы. Бык оглядывался, шевеля ушами. На голове явственно виднелись бугорки коронок. Комолый бык, копыта — единственная защита. Лось насто-роженно поворачивал морду: чуял опасность.

Дальше скрываться было бесполезно: бык громко фыркал, почуяв волков, и матерая, пружиной вылетев из-за укрытия, на махах пошла к кустам. Но ее сразу же с боков обогнали переярки. Комья рыхлого снега летели из-под их лап. Сильные были звери, и мать, искося ревниво поглядывая на них, радовалась.

Кусты впереди затрещали: лоси поднялись. Теперь их хорошо было видно на светлом фоне снега. Бык, огромный, как скала, возбужденно фыркал, высоко поднимая комолую голову. Сзади к нему жалась лосиха и два лосенка.

Волчица видела, как лосиха с лосятами вдруг отделились и плавно, невесомо, словно на крыльях полетели в синий мрак поймы. Рваная тропа пролегла за ними. Лоси не пошли мимо тех кустов, где затаился матерый с молодыми, и теперь не догнать по глубокому снегу этих длинноногих зверей.

Но бык не уходил. Низко пригнув свою легкую голову, бил копытами снег, часто оглядывался назад, на тропу к пойме. Но, видно, не время еще уходить ему. Пусть семья подальше оторвется. И с готовностью шагнул навстречу волчице.

Она шарахнулась в сторону, едва не попав под копыта. И сразу же на быка с двух сторон пасели переярки, отвлекали от матери. Лось бросился на переярков, и те тоже отскочили, почти сели на хвосты. И бык

осмелел. Круто развернувшись и длинно взбрыкнув задними ногами, с треском ломая засыпанный снегом низкий кустарник, рванулся к тропе, по которой ушла его семья.

И — остановился как вкопанный. Наперерез ему шли матерый с молодыми. Лося взяли в кольцо, и кольцо сжималось. Волки подходили все ближе, ошетинаясь, кружили вокруг быка, молодые и переярки косились на матерого, ожидая его знака.

Лось, огромный, черный, тоскливо оглядывался и шумно дышал носом, будто отгонял назойливых комаров. Матерый, прицелившись, ждал; когда лось повернулся к нему боком, прыгнул ему на шею. Но зверь секундой раньше шарахнулся от подбиравшегося к нему боком переярка. Зубы матерого скользнули по шее лося и, клацнув, он скатился под ноги быку, заранее вжимаясь в снег.

Бык налетел, ударил копытом, и затоптал бы, не повисши у него на шее два переярка. Один тут же сорвался под копыта, хрипло взвизгнув, когда бык наступил на него, шарахаясь в кусты.

И тогда метнулась волчица.

Лось захрипел, пошатнулся, судорожно шагнул на чистое место и рухнул в снег, едва не придавив молодых. Насевшая волчица и переярки рвали горло. Запах свежей крови дымно повис над кустами.

А рядышком лежал переярка на боку, почернив кровью снег. Лапы его подергивались, словно еще бежал. Мать обнюхала его морду и потянула за загривок, как в детстве. Но обмякший переярка не поднялся, не потянулся вместе с молодыми к добыче.

Волчица вернулась к туше, где молодые, упершись лапами, выдирали внутренности, она отхватила мягкий, дымный кусок, подтащила к самой морде переярка, но он не разжал челюстей. Она посмотрела в недоуме-

нии, как тот судорожно бьется в снегу, легла рядом, стала лизать его морду. Лизала, пока переярка не затих. Подошел, пошатываясь, матерый, лизнул переярка и сел рядом.

Молодые ели торопливо, давились и стонали. Родители подошли к ним. Но матерый только понюхал добычу и отошел. Есть он не мог. Его тошнило, в глазах расплывались огненные круги. Он полез в густоту кустов, потому что вытоптать лунку не было уже сил. Лег там на ломаные холодные прутья и сразу же синий мрак растворился.

А утром, когда на востоке ало набухала заря, тишина раскололась выстрелами. Волк открыл глаза и увидел, как в смертельном страхе выметаясь из лунок, молодые тут же, корчась, падали в снег и уже не поднимались. Переярка, ошетинившись и затравленно поджав хвост, крутился на месте, будто хотел втоптать в лунку поглубже, резко вздрогнул, выгнулся и зарылся мордой в снег.

Матерый и волчица лежали в кустах, отдельно от детей. Кусты еще хранили ночной сумрак, и их не было видно. Матерые не вскочили от первых выстрелов, затаились опытно.

И когда люди в белых накидках поднялись из укрытий и, громко переговариваясь, шли к добыче, матерые метнулись из кустов на лосиную тропу, на махах уходя в пойму.

Опережая их, с визгом легли заряды картечи, жужжа оводами. Волки не остановились, не свернули с тропы, лишь прижали уши. Серыми призраками широким махом скакали туда, где за горизонтом воровалось солнце, где было красно и дымно.



К вечеру третьего дня, когда снег и небо стали одного цвета, ему удалось поймать зайца. Он держал добычу за перекушенную шею, ощущая во рту солоноватый вкус теплой крови. Впалые бока его пульсировали короткими тугими толчками, гнали сквозь неплотно сомкнутые зубы сизые струйки пара.

Он держал зайца на весу, хотя мягкая шерсть, набившаяся в пасть, мешала дышать, и смотрел, как по скрипучему насту голубоватой тенью катилась волчица.

Она подходила к нему медленно, вытянув шею и приплюсываясь. Нервно поводила носом, глядя на добычу сузившимися, льдисто мерцающими глазами.

Волк не двигался. Его покачивало от сумасшедшей гонки по сугробам, окончательно высосавшей силы. Тогда волчица показала белые, аккуратные клыки. Он уронил зайца в снег, побитый бурыми оспинками, и отошел.

Небо синело, и снег синел. Набрали силу морозные звезды, и наст засветился мелкими иглистыми искрами. Волк лежал на колючем снегу, слизывая с лап пристывшие капли заячьей крови. Он слушал сочный хруст раздробляемых костей, и у него с губ текла слюна, а в животе что-то дергалось и екало.

На волчицу поглядывал искоса и осторожно. Но иногда взгляд помимо воли затвердевал на истерзанном зайце. Тогда волчица переставала есть, поджимала верхнюю губу, обнажая аккуратные клыки, и он уводил глаза на стылые тонкоствольные березки, с показным вниманием рассматривая их черные ветки, вмороженные в хрусткую наснежь.

Когда с едой было покончено, волчица поскрипела мятым снегом, обнюхивая место, лениво зевнула и,

облизываясь, отошла к березкам, за которыми потрескивала черным льдом речка с рыжеватым тальником у берегов.

Волк поднялся покачиваясь: его тошнило. Горло перехватывали спазмы. Он крутил шеей, но голод не уходил. На глаза наволакивалась мутная пелена. На мятом снегу шевелились едва заметные в сумерках клочья заячьей шерсти. Ноги сами повели туда. Стал лизать окровавленный снег, но голод лишь усилился от резкого, дразнящего запаха. Легкий пух прилипал к носу и волк брезгливо очищал его о лапы.

Волчица неподвижно стояла под березками и смотрела за реку, где в синем сумраке, прорезанном столбами дыма, мерцали редкие огни домов... Матерый боком подошел, положил ей на шею свою отяжелевшую голову.

Но та ласки не приняла, огрызнулась беззлобно, покрутилась на одном месте и легла в лунку, свернувшись в клубок. Зарылась носом в хвост, смежила веки и умиротворенно вздохнула.

Матерый постоял, обиженно глядя на подругу, потоптался и лег, ловя далекие звуки на той стороне. Но голод не давал лежать, гнал с места. Зудились подушечки лап, он скреб ими по твердому насту, унимая противный зуд.

Нюх обострился так, что учуял под сугробом слабый запах полевой мыши, и, пересилив отвращение, он стал судорожно разрывать когтями смерзшийся снег. Комья снега и серебристая пыль летели из-под мелькающих лап. Но запах мыши скоро исчез, и волк долго не мог успокоиться. Суетливо ворочал мордой, надеясь увидеть маленький теплый комочек или хотя бы услышать писк.

Потом он снова лег, положив на лапы острую, красивую морду. Не мигая глядел на растушеванные позд-

ним сумраком куски домов и горбатые спины стогов возле них. Ждал, когда погаснут огни.

Их преследовали три дня, не давая ни отдохнуть, ни добыть пищи. Спасло резкое похолодание. Выпал пушистый снег, наст промерз, окреп. Лапы уже не проваливались. Морозный снег скрипел, не давал людям подойти на убийную близость к волкам, и они отстали, ушли в деревню.

Оставаться в той округе было опасно. Переждав морозы, люди могли снова появиться. Однако матерым далеко уходить не хотелось. Здесь недалеко их логово, здесь их кормовые угодья. Идти в чужие места — набросятся свои же собратья. И волк, дав несколько кругов, путая следы, привел волчицу к деревне. Здесь их меньше всего могли ждать.

Небо темнело и снег темнел. Исчезли сизые столбы в небе, растворились тени домов, лишь огни высветлились. Стали ярче и чище. В селе лениво лаяли собаки, скрипели полозья залоздалых саней. Потом долетел звонкий удар с противоположного берега.

Волк напрягся, готовый мгновенно сорваться со своей лежки. Волчица подняла голову, прислушалась. Потом еще долетели звонкие удары ведра, пробивающего дном лед в проруби, и волки, не почуяв опасности, успокоились.

Вскоре все стихло. Один за другим погасли огни, и село утонуло во мраке. Собаки лаяли реже, с подвывом, в никуда, словно тосковали по давно утерянной воле. Встреч с ними в селе матерый не желал: истощенный лай мог привлечь людей. Вот если бы подкараулить собаку в поле... Но собаки без хозяев не уходят от дома. Они не нуждаются в добыче. Хозяин прокормит.

Наконец волк стал подниматься, отрывая от снега примерзшую шерсть. Волчица глядела на него, и с лежки не вставала. Ей было тепло и сытно. Нос угрелся в

заиндевавшем от дыхания хвосте. Она наслаждалась покоем и сытостью, которые в ее жизни случались не часто.

Но матерый нетерпеливо ходил вокруг нее, и волчица неохотно поднималась. Лениво потянулась и зевнула. Волк посмотрел на подругу, на спящее невидимое село и легкой рысцой пошел к реке, резко вытягивая в поздри колкий, бодрящий воздух.

Возле того берега была прорубь. Матерый осторожно подошел к ней, кривя нос от свежего запаха паленой шерсти: человек приходил в валенках. Волк всегда боялся человека, с самого рождения в нем уже был страх к этому не похожему ни на птиц, ни на зверей существу. Он был особой, непонятной породы. Он мог пахнуть овцой, собакой, лошастью. Обряжаясь в чужие запахи, человек был особенно страшен.

Волку и сейчас было страшно, но голод гнал к своему извечному врагу, где он мог получить либо пищу, либо жакан в бок. Дикого зверя матерый взять уже не рассчитывал: ослабел от болезни и голода. Он тронул передней лапой гибкий ледок, продавил, и на лед выступила черная вода.

Опустив морду, беззвучно вытягивал губами ледяную воду, чувствуя, как ее холод ползет в брюхо. Голод немножко унялся. Матерый лег на еле заметную в темноте скользкую тропинку, ожидая волчицу. Та пила долго, с передышками. Испуганно озираясь, роняла с губ тяжелые капли.

Село заснуло, лишь собаки не спали. Матерый прислушался и, оглянувшись на подругу, легонько потрусил на некрутой взгорок. Отлеживаясь на той стороне, скопил немного сил и берег их. Волчица хотела по привычке обогнать его, но он не дал и, лишь проступили очертания ближнего дома, загородил ей грудью дорогу.

Он хотел, чтобы она протстала, держалась ближе

к стогам. Возле ограды крайнего дома они снова прилегли, зорко вглядываясь в окружающее. Слушали, как потрескивали от мороза бревна избы, тоскливо подывала собака на другом конце села.

Волки внимательно изучали двор и подходы к нему. Во дворе, примыкая к глухой стене избы, проглядывался низкий бревенчатый хлев с бугром сена на крыше. Дверь избы была на противоположной стороне. Место для подхода удобное.

Подождав немного, матерый решился. Сделал несколько осторожных шагов к жердяной ограде и оглянулся. Волчица с опаской смотрела в черноту двора, но шла следом. Матерый остановил ее взглядом. Она легла и продолжала ползти, и тогда матерый показал ей зубы.

Чтобы попасть к хлеву, надо было миновать забор. Между жердями можно было проползти на брюхе, но волк не рискнул лезть в щель. Неуверенно переставляя лапы, словно пробуя прочность собачьей тропы, подошел к ограде. Недоверчиво обнюхал корявый столбик, по бокам которого крепились заледеневшие жерди.

Столбик пах собаками, и волк помочился на него. На миг прислушался. В темноте больше доверял слуху, оглянувшись на тревожно сжавшуюся подругу и легко прыгнул через жерди. Расстояние до хлева одолел широкими прыжками и замер на черном фоне стены. Волчицу он теперь не видел, но чувствовал, что она лежит за забором, следит за ним испуганными глазами. Ей нельзя рисковать, волчата не должны погибнуть, не родившись. Они, как и их родители, должны все испытать: и голод, и страх, и любовь, и боль.

Матерый пошел вдоль стены, обнюхивая бревна. В огород из хлева выходило маленькое окошечко. Под ним чернели комья стылого овечьего навоза. Он возбужденно обнюхал подножье стены, встал, упершись

передними лапами в бревна, прижал нос к холодному стеклу. Стекло оказалось заледеневшим. Тогда уперся лбом в перекладину и сильно надавил.

Рама заскрипела и с глухим звоном упала внутрь. Тотчас в ноздри ударил теплый, застоявшийся дух овчарни. И сразу услышал дробный перестук овечьих ног по полу, сдвоенное блеянье сбившихся в кучу животных.

Он на миг задохнулся от возбуждения, сердце зачистило. Положил передние лапы на подоконник и, судорожно царапая стену задними, карабкался в черный провал. Легкое тело послушно повиновалось, силы еще были.

Оставалось немного: рвануться сильнее, упасть в черноту, и все забудется; и голодные ночи, когда желудок примерзает к спине, и бешеные гонки за вертким зайцем. Он полоснет резцами первую подвернувшуюся овцу и, пьянея от горячей крови, будет метаться по хлеву и резать, резать. Но когда матерый уже переваливался грудью через узкий подоконник, что-то резкое, горячее впилось в его заднюю лапу, полоснуло острой болью и потянуло назад.

От неожиданности волк щелкнул зубами и дернул мордой, сильно поранив голову о торчащий из косяка гвоздь. Но боль от гвоздя была пустячной по сравнению с той, что в лапе. Невидимые челюсти до хруста сжимали ее и тянули вниз так, что резало грудь, трущуюся о подоконник. Извиваясь, матерый вывалился в колючий твердый снег.

И не успел волк встать на ноги, как его сбил грудью рослый черный кобель с коротко торчащими ушами и толстой шеей. Волк, лежа на спине, щелкал зубами и пытался встать, но пес не давал. Злобно лая, наседав, примеривался к горлу.

Волк понимал: долго ему так не продержаться. Пес

откормлен, силен, а он тощ, измучен голодом. Только звериная молниеносность может спасти от сильного, но недостаточно ловкого врага, своим лаем призывающего людей на помощь.

Он остервенело дернулся навстречу собачьей морде, пес отшатнулся, и волк мгновенно вскочил и тут же поджал заднюю лапу — она нестерпимо ныла. Пес на-скакивал, пытался исправить оплошность, а матерый подставлял зад. Выбирал миг, когда можно будет пружинно развернуться и полоснуть клыками собачий бок от лопатки до хвоста. Матерый был опытен в драке, не раз отбивал волчицу от наскоков сильных молодых волков.

Пес, привыкший к лобовой драке, стал нервничать и сплеховал: подставил-таки бок. Тогда круто развернувшись, матерый ударил собаку острыми, загнутыми назад клыками, но... помешала перекушенная лапа и густая шерсть собаки. Пес завизжал и, захлебываясь, снова бросился на волка. Смел он был и силен, и сбил волка. Истинно подвывая, пес вырывал клочья из волчьего бока, и матерый молча принимал удары. Силы его уже оставили.

Волк все чаще промахивался. Дышать мешала собачья шерсть, забившая горло. А пес наседавал сверху, подбирался к шее... Матерый отчаялся: вскочил из последних сил и на трех лапах проволоч по снегу врага, вцепившегося в загривок. Пес, упершись передними лапами в волчий бок, не давал ему уйти, тряс мордой, захватывая в пасть все больший кусок загривка.

Матерый захрипел и перевернулся через голову. Кобель от неожиданности разжал зубы и отскочил. Уже обессиленный, истекающий кровью, волк успел полоснуть пса от лопатки к животу. Теперь он чувствовал, как трещала под резцами шкура собаки, которая тут же отчаянно взвизгнула и откатилась, хромая.

Вой поверженного врага придал ярости. Волк бросился на пса, и они покатались по снегу, задыхаясь и клаская зубами.

В доме резко скрипнула дверь. Послышался торопливый топот по мерзлым доскам крыльца, потом скрип снега. Матерый заметил силуэт бегущего к ним человека и попытался вырваться. Но у собаки при виде хозяина прибавилось решимости и сил. Хрипло, обессиленно лая, он не пускал волка.

Человек подскочил к клубку катающихся тел, сжимая в руках ружье. Тяжело дыша, рассматривал противников. Потом бросился к изгороди. Прислонив к столбу ружье, стал ломать жердь. Сорвал с гвоздя один конец, развернул жердь, со скрежетом освободил второй конец.

Человек не решался ударить, боясь зацепить свою собаку, и стал распахивать дерущихся концом жердины. Отпихнув кобеля, он с изумлением смотрел на извивающегося и класкающего зубами противника.

— Волк! — вдруг крикнул сорвавшимся голосом и ткнул жердью в мягкий бок. Пес в горячке кинулся снова, но хозяин сапогом пнул его и размахнулся.

Из дома бежали мальчишка и женщина.

— Ванька! — заорал человек с жердиной. — Волки!

— Где? — запальчиво откликнулся мальчишка и остановился, пугливо глядя в черноту поля за оградой.

— Одного добиваю. Наверно, еще есть... Вон ружье возле заплота, пальни. — Он размахнулся и с прыдком опустил конец жерди. Но в голову не попал из-за торопливости, да и руки дрожали. Хрусткий удар пришелся поперек спины.

Тугая боль запеленала волка. Он дернулся от выстрела, напоследок увидел небо, черное, прорезанное пламенем. Выгнулся и затих, давясь кровью, которая шла горлом, черня и растапливая снег. Но волк был

еще жив. Словно издалека слышался жалобный визг собаки, которую осматривали люди.

Мальчишка сбежал за фонарем. Тонкий, желтый луч уперся в черный, часто вздымающийся бок собаки. Бок был влажный, поблескивал густо и дымился под светом.

— Я сначала думал, с каким кобелем сцепился. — лихорадочно говорил мужик. — А глянул — на те, волк! Лежит, щерится, зараза. Ну, я ему и врезал... Ну-ка, мать, поддержи лапу, тут что-то под лопаткой...

— Кровь, — испуганно сказал мальчишка, отклоняясь.

— То-шно... Надо бы чем-то прижечь.

— Чем тут прижгешь? Зашивать надо. Ну-ка, Ванька, живо бинты! — Мужик поднялся, разогнул спину, устало, горестно цокнул языком. — Ты смотри, всего кобеля порвал, за-ра-за... — Сверлящий луч фонаря перекинулся с собаки, скользнул по мокрому волчьему боку, по оскаленной морде. Глаза ответно вспыхнули зеленым. Женщина попятилась.

— Неужто еще живой? — удивился мужик. Не уводя света от волка, присел, свободной рукой шаря по снегу. — Глазищи еще горят. Живучий какой. Подержи-ка, мать, фонарь...

Жгучий пучок света на миг перебила узкая тень поднимающейся жердны.



## ТРАМВАЙЩИЦА

1

ялка на остановке была такая, что ко всему уже привыкшая Шура раздраженно повела плечами под полушубком на своем кондукторском месте.

— И откуда только берется? — сказала низким, хрипловатым голосом, злясь на себя, на пассажиров, на осатаневшие морозы, которые не появлялись всю зиму, а теперь вот в конце февраля навалились и лютуют, будто наверстывают свои погодные планы.

Еще какую-то неделю назад тетя Фрося говорила нараспев: «Сиротская ноне зима стоит, легкая» — и благодарно смотрела вверх, на лениво-мягкий закат, обещающий теплую, тихую погоду, крестилась на телевизионные антенны соседнего пятиэтажного дома. Напомнить бы ей сейчас про сиротскую благодать, да понаблюдать ехидно, как постно подожмет губы хоззяк!

Люди лезли в вагон с отчаянной торопливостью, мешая друг другу. Сизый морозный пар, обгоняя их, застрявших в дверях, тянулся в трамвай, клочковато стлался над головами.

Шуру оттеснили к серому, мохнатому стеклу окна, и она локтями оберегала сумку с мелочью и катушкой билетов, чтобы в давке ее не растрепали. «Ну, сегодня тетя Фрося пуговиц насобирает!» — зло думала она, по-

тирая одеревеневшие пальцы о железный ящик едва теплого обогревателя.

А ведь у нее были хорошие варежки. Из белой чесаной шерсти, толстенькие и теплые, как котята. Их под осень из деревни прислала мать, заботливо предусмотрев холода.

Полюбовалась варежками Шура, повздохала, представив, как терпеливо сидела мать вечерами, подсчитывая петли. К щекам варежки прижала, винясь перед матерью, и обрезала их почти наполовину, чтобы пальцы были оголенными, как у других кондукторов. Так удобнее отрывать билеты и считать деньги.

На что похожи стали варежки! Поистерлись, обремкались по краям, а пальцы беззащитно белели снаружи, скрюченные холодом.

Мать была мастерица вязать. Когда Шура жила еще там, дома, мать связала ей сиреневую кофту, которая ненадеванной пролежала в сундуке полгода. Шура берегла ее для города. Если в избе никого не было, любовно доставала кофту, примеряла перед зеркалом.

Видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе, не знала, и чем заниматься будет в конторе, тоже не представляла, лишь чувствовала: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные и веселые. Да только зря кофточку берегла! Поистерлась она под шубой, вылиняла от частых стирок. Поглядела бы мать...

Пассажиры уже лепились в дверях, пытаясь за что-нибудь уцепиться, и надо было срочно давать отправление.

Но не успела Шура дотянуться до кнопки сигнала, как вагон дрогнул и, натужно скрипя колесами по заснеженным рельсам, потащился дальше. Видно, Галка в своей водительской кабине поняла: помедли еще, так и на крышу полезут, не посмотрят на мороз.

И люди уже бежали за трамваем, цеплялись за скользкие поручни, мостились на подножках, но им мешал бугор спин, и они отставали, теряясь в синеватодымном позднем рассвете.

— Рассчитаемся, товарищи! — громко и хрипло сказала Шура, оглядывая туго набитый вагон и понимая, как нелегко будет всех обилетить. — Кто вошел в переднюю дверь, передавайте на билеты! — и, запустив руку в сумку, побренчала мелочью, давно приметив, что звон этот побудительно действует на людей.

— Эй, там... которые на подножке, передавайте деньги, не стесняйтесь! — покрикивала она, дыша на пальцы.

— Успеем, — глухо ворочались мороженые голоса.

— Еле держимся... Шевельнуться нельзя.

— Порядка у вас никакого! Из-за вас на работу опаздываем!

— А кто виноват, что такой мороз? — звенела медяками Шура, быстро отрывая билеты. — Только что две сцепки в депо ушли: воздушные трубки перемерзли!

Она не обижалась на ворчливость пассажиров. Пусть хоть этим утешатся.

На нижней ступеньке открытой двери стоял мужчина с поднятым воротником пальто. Явно без билета ехал. Таких Шура быстро распознавала.

— Вы рассчитались? — спросила она.

Но тот не двигался, будто и не слышал. Тогда Шура протянула руку в обрезанной варежке и тронула плечо мужчины:

— Покажите билет!

— Я сейчас схожу, — буркнул, не оборачиваясь, нетерпеливо переступив с ноги на ногу.

— Какое мне дело, сходите или не сходите! — гневно сузились зеленые глаза кондуктора. — Давайте платите!

— Вот пристала! — процедил воротник. — На, пода-  
вись... — и передал теплую пятнадцатикопеечную моне-  
ту. Видно, долго грел ее в руке, берег.

— Совести нет! — воскликнула Шура. — Я что, себе  
деньги собираю? Трамвай не частная лавочка. Он госу-  
дарственный!

— Ладно. Слышали! Давай сдачи.

— Ничего вы не слышали! Из-за таких-то и план не  
выполняем. Вот возьму сейчас да обилечу на всю моне-  
ту. В другой раз неповадно будет! — И, размотав ка-  
тушку, оторвала целую ленточку.

— Да я тебя... — сдавленно зашипел тот, дергая  
ртом и не находя слов. — За шиворот...

— Чего расшумелся? — недобро спросил молодой  
басистый голос. Высокий парень в белой пушистой  
шапке протискивался к дверям. — А ну, покажись!

— Защитничек нашелся! — хмыкнул воротник, обер-  
нувшись к пассажирам. — Трамвай по часу ждем, да  
мы же и виноватые.

Вагон тем временем остановился. Висевшие на под-  
ножке спрыгнули, пропуская выходящих.

— Выходи! — сказал парень твердо.

— А может, я дальше хочу ехать!

— Ишь ты! — ехидно рассмеялся кто-то. — А гово-  
рил — схожу.

— А я теперь назло дальше поеду!

— Ходи пешком, так дешевле, — грубовато сказал  
парень и, поднажав плечом, вытолкнул мужчину из ва-  
гона на скрипучий снег остановочной площадки.

— Правильно, — одобрительно загудели пассажи-  
ры. — При чем кондуктор, если трамвай ломаются! Он  
такой же рабочий.

Вагон тронулся. Мужчина, матерясь, бежал рядом  
с дверью, но стоявшие на подножке не дали ему места,  
и он отстал.

Пассажиры смеялись. Но Шуре было невесело. Она  
вздохнула и глянула на парня, который остался у две-  
рей, ожидая своей, видимо, близкой остановки.

У него было круглое, совсем еще молодое лицо. Над  
верхней, слегка вздернутой губой чернели усики, кото-  
рые лишь подчеркивали его молодость. А глаза с не  
остывшим еще гневом были синие-синие, горячие. «Так  
редко бывает, — подумала Шура, — чтобы у смуглого  
такие синие глаза».

Когда он вышел из вагона, Шура оттерла варежкой  
полоску стекла и глядела, пока стекло не запыло на-  
ледью от дыхания, как бежал он в коротком спортивном  
пальто к подъезду института, балансируя портфелем.

2

Она прошла по морозно скрипевшей тропке тесного  
дворика и поднялась на крылечко. Обмахнула валенки  
растрепанным голиком, но заходить в комнату не спе-  
шила.

Намерзнувшись за день, Шура любила постоять на  
крыльце минуту—другую, вобрать в себя побольше хо-  
лоду, а потом сразу в тепло, к уютно потрескивающей  
печке. Любила сидеть на корточках перед открытой  
дверцей, оттаивать. Хорошо так сидеть. Тепло смывает  
с руки и лица корку холода, убаюкивает.

Над трубой дыбится дым, тянется белым стволом в  
бесцветное небо и там теряется. Значит, Галка дома.  
Шура инула валенком желтую поленницу возле крыль-  
ца. Несколько полешек дробно свалились под ноги.

Этот занесенный снегом дворик на окраине города  
чем-то напоминал уголок ее тихой деревни. Так же гор-  
бится черный лесок невдалеке, так же петляет тихая  
речка, теперь затерявшаяся в снегах. Только над тем-  
ными соседними домиками, доживающими последнюю

зиму, громоздятся пятиэтажки, веселя глаз нарядным шифером на балконах.

«Получить бы там однокомнатную!» — подумала Шура и тяжело вздохнула. Надоело ей на частной. И хотя у них с Галкой отдельный ход от тети Фроси, все равно не дома. Да и дорого. «А вот Галка, наверно, скоро получит квартиру, — подумала завистливо. — Замуж выйдет, дадут. Семейным дают быстро», — и поглядела вверх, на огненные стекла окон, в которых плавилось уходящее солнце.

На верхушке голого тополя перед домом, нахохлившись, сидели вороны. Шура подняла ледышку, бросила в дерево. Но вороны даже не шевельнулись. Кому охота попусту махать крыльями в такой мороз! «Птицам тоже трудно», — посочувствовала Шура, собрала с крыльца полешки, различив тонкий смолевой запах. «В деревне дрова точно так же пахли», — и свободной рукой потянула дверь на себя.

Но смолевой запах сразу увял, лишь она прикрыла за собой скрипучую дверь: в комнате было накурено. «Видно, Галка со своим», — мелькнуло в голове. Но она ошиблась.

На табуретке возле стола, закинув нога на ногу, сидел Володя, молодой еще мужчина, с сильно поношенным лицом, и курил тонкую папиросу, стряхивая пепел в конфетную обертку. Перед ним зеленела початая бутылка водки, лежал кулек с рассыпанными недорогими конфетами.

— Ты? — слегка удивилась Шура, не обрадовавшись и не огорчившись. Бросила к печке дрова, отряхнула полушубок от приставших комочков снега и подула на пальцы.

Володя усмехнулся линялыми глазами и налил полстакана:

— Погрейся с морозу-то.

— А-а, давай! — Шура отчаянно махнула рукой. Пить она не очень-то любила, но сейчас, после холода и усталости, водка обещала спокойствие и легкость.

Она выпила, знобок передернулась. Володя протягивал развернутую конфетку.

— Где Галка? — спросила, вешая шубу на гвоздь у двери.

— Известно где — на свиданке! — Володя тоже выпил и, не закусывая, дышал открытым ртом. — Вон тебе записку оставила.

Шура взяла с тумбочки листок бумаги, свернутый пополам: «Шурчик! Ночевать не приду. Можешь закрыться. Галка».

Бросила записку на стол, потеряла пылающие щеки. Вязаная кофточка сиреневого цвета очень шла ей. Короткие светлые волосы подчеркивали стройность. Длинные зеленые глаза были еще темны от холода, задумчивы.

— Хочешь еще? — вдруг спросил Володя, обняв пальцами бутылку.

— Нет... — Присела на корточки перед печкой, щепкой открыла дверцу. По волосам, по лицу плеснули красные блики, глаза вспыхивали зелеными искорками.

— Галка замуж выходит, — сказала она, задумчиво глядя на огонь.

Володя пожал плечами и зевнул:

— Чуть концы не отдал, — произнес он глухо, разглядывая этикетку бутылки. — Сидели в вагончике, анекдоты травнили. Мороз-то, сама знаешь, с градусом. Думали, может, прокантуемся до вечера, тариф все равно заплачат. — Он покачал бутылку, раздумывая, налить или еще подождать. — А тут прораб вваливается. Кран, говорит, надо монтировать. Наряды по аварийной... Ну, мы ноздрей повели — дело мужик говорит.



Полезли. А там, на верхотуре, аж до печенки продирает. Да еще ветерок сечет. Думал, околою...

— Не околел? — спросила Шура хрипловато, занятая своими думами.

— Кто? Я-то? Не-е, водкой градусы сравнила. Снаружи сорок и внутри сорок. Только так... — рассмеялся через силу, смял окурок в конфетной обертке. — Ты чего сегодня такая?

— Какая? — подняла непонимающие глаза.

— Как неродная.

— Чо попало... — пробормотала растерянно и поднялась. Сбросила валенки, влезла на кровать, закутав ноги концом одеяла. Смежила веки. Хорошо так лежать. Уютно потрескивала печка, поленья оттаивали, наполнили комнату тихим запахом смолы, леса.

— А Галка если замуж выйдет, уволится с трамвая, — сказала сонно. — Так и говорит: сразу заявление подам. Посижу с недельку дома, а потом на фабрику, в тепло.

— Ну и что? — спросил Володя, поднимаясь.

— Ничего... — потеряла глаза Шура, глядя на Володин старенький пиджак с мятыми отворотами, с лоснящимися, вытянутыми локтями, на его стоптанные, по-деревенски подвернутые кирзовые сапоги, на припухшее лицо с двухдневной рыжеватой щетиной.

Вспомнилось Галкино: «И не жалко тебе себя на этого замухрышку тратить? Аж зло берет». Да и на самом деле, что хорошего в Володьке, который всю жизнь мотается где придется, ни на какой работе не держится? По чужим квартирам скитается. Где поглядят, туда и идет, как собачонок бесхозный, шалопутный.

«Вот ко мне прибился. А какой от него толк? — ворочались в голове тяжелые мысли. — Уж лучше одной!» И слушала его осторожные шаги по комнате. Не решительные шаги, не хозяйские. Отец, бывало, дома, на

улице, в гостях ли, обдуманно, по-мужицки прочно ставил на землю ноги в крепких, тоже кирзовых сапогах. Шагнет — и как припечатает. Не шатнешь!

А этот едва пола касается. Вот ходит и мается, и одно у него на уме: как бы к девке под бок. Косится на выключатель, а духу не хватает. Он и тут будто ворует. И то правда: ворует ее, Шурку, у другого парня. «Может, даже у того студента с летними глазами», — вдруг вспомнила она.

И стала вспоминать, как так получилось, что этот потрепанный мужик, в котором и мужицкого-то ничего нет, бродит возле ее кровати, нервно, неуверенно курит и ждет, ждет...

3

А началось все с петуха. Зычно прокричал петух, где-то совсем рядом. Шура от неожиданности вздрогнула. Она сидела тогда на крыльце и думала, что вот теперь придется ей жить без отца, без матери, среди чужих людей. Было тревожно и сиротливо.

Услышав петуха, обрадовалась, поднялась с крыльца, оглядела незнакомый еще дворик. Но все тесное пространство, обнесенное серым, растрескавшимся штакетником, было пустым. В углу двора к забору прилепился сарайчик, на его дверце висел ржавый замок.

Кур нигде Шура не увидела, как ни оглядывалась. Да и от хозяйки про кур не слыхала. Однако петушиный крик вновь раздался, поражая своей близостью. Голос петуха был громок, красив стройным пучком звуков. Зычный, мужественный крик.

Шура озадаченно вертела шеей, пытаясь обнаружить невидимого, но близкого певца. За двориком светлел редкой полынью пустырь. Там громоздился пятиэтажный дом с балконами. На нем многоцветно плескалось по ветру сохнувшее белье.

237

Когда петух прокричал еще, Шура проследила звук и, задрав голову, увидела на балконе пятого этажа шелковисто-белого петуха. Он гулял за высокой решеткой, поклеывая бетонный пол. Несильный верховой ветерок перебирал перья развесистого хвоста, расцветчивал их золотисто.

— Что попало... — пробормотала Шура растерянно. Обрадовалась петуху, соседство которого чем-то напоминало родную Лебяжиху. Зашевелилась тоска по дому, затуманила глаза. Дома сейчас такой же ранний вечер. Коровы домой возвращаются с поймы. Идут, пылят по улице, мычат от близости своих дворов. И над всей Лебяжихой висит густой запах парного молока, теплой пыли и горьковатого дыма летних кухонь.

Мать стоит у приоткрытой калитки, манит Пеструху ведром с пойлом во двор, к пригону, где уж дымится сырой тальник от комаров, зовет ласково:

— Ну, иди, милая, иди, кормилица наша...

А Пеструха мычит ей ласково, идет медленно, несет тугое вымя.

Маленькая у нее мать, морщинистая, по-старушечьи белым платком повязана. Сколько помнит Шура мать — всегда в нем. Будто и молодости у нее не было. Она ни разу отцу слова поперек не молвила. Все тихонько да покладисто. Обстирывала, обшивала, кормила ораву ребятишек.

Принесет ей Шура воды ли из колодца, поможет ли белье в речке прополоскать да вальком выбить, та ласково: «Спасибо, доченька». А ей кто сказал спасибо за то, что всю молодость на них истратила? Нет, наверно.

А где она, эта орава теперь? Поминай, как звали: все разлетелась по далеким городам. Одна Валька, младшая, еще при ней: крылья не выросли.

Ясный месяц загляделся в горенку тво-о-ю,  
Королевицу ты снишься в далеком кра-а-ю...

Будто и сейчас слышит Шура тихий материн голос, видит мать, сидящую у ее изголовья в белом старушечьем платке. В избе полумрак. За печкой сверчок пилит. Шершавые теплые руки поправляют одеяло у плеча, и так хорошо от их прикосновенья.

Станешь ты красивой кралей, баюшки-баю,  
Королевицу приласкает головуку тво-о-ю...

Вот так же мать стояла у калитки, когда Шура уходила к леску, где была железнодорожная станция. Помнится, далеко Шура отошла, оглянулась: дом уж слился с другими домами, а платок материн все белел. Такой и осталась в памяти мать, будто за девятнадцать лет Шура другой ее и не видела...

На балкон вышел старичок, что-то посыпал из ладони на пол. Потом выглянул мальчишка лет шести, карапузик в красной рубашке, и стал смотреть, как петух стучит клювом по бетону.

У Шуры был выходной, и она изнывала от безделья. Галка, ее новая подруга, ушла на всю ночь. Накрашенная, расфуфыренная, счастливая, она так загадочно улыбнулась на прощанье. Тетя Фрося с обшарпанной кирзовой сумкой подалась на барахолку. В сумке у нее — пуговицы, нашитые на картонки. Хозяйка работает техничкой в депо, моет по ночам трамвай, а заодно и пуговицы собирает. Не пропадать же добру.

Сидела Шура на крыльце и скучала. Подруг еще не завела, а одной в город идти не хотелось. Подумала-подумала да и пошла потихоньку к пустырю, где строились новые дома. Путь ее пролегал мимо обжитого пятиэтажного, и там встретила она старичка, что кормил петуха на балконе.

Старичок был одет празднично; дешевый серый костюм сидел на нем мешковато. Видать, не часто надевать

его приходится. По виду старичок был деревенский и тоже скучал без привычного окружения.

— Это ваш там петушок? — приветливо спросила Шура, показав рукой на балкон.

— Мой, — остановился старичок обрадованно.

— Хороший петух. Поет страсть как красиво.

— Такой петух один на все село был, — разгладились морщины деда, и глаза молодецки засветились. — Что петь, что подраться — самый первый. Бедовый петух, ой бедовый!

— А зачем вы его в город-то?

— Вишь, какое дело, сын у меня тут живет, — близоруко, из-под руки стал смотреть на дом, пытаясь найти балкон сына, но не нашел, потому что все они одинаковы. — На заводе тут токарем работает. Квартиру, вишь, дали, потому как семья: жена да сын. Вот я и приехал посмотреть, как они тут. Еще когда собирался, старуха все пилила: поговори, дескать, может, Иван-то воротится.

— Обратю в деревню?

— Ну, а то как? Мы, вишь, старики. Случись чего с нами, он и не узнает. Иван у нас один, остальные-то сыновья, старшие, с войны не пришли — погибли. Ну вот, мы его и хотим вернуть назад. А чего? Дом у нас справный. Всем места хватит. Жить бы нам с молодыми да париншку нянчить. Чего его в садик таскать, к чужим людям? Одним словом, вернуться ему надо. Директор совхоза, Артемий Кузьмич, мужик-то голова, обещал, в случае чего, дорогу оплатить. Иван больно уж хороший токарь. Ну, а петуха привез, чтоб Ивана домой потянуло. Мальчишкой он любил петухов. Все, бывало, с друзьями срамливал петухов — чей побьет.

— Ну и как? — Шура немного повеселела от разговора.

— Чего как? — не понял старик.

— Я говорю, сын-то поддается?

— А-а, только петух зря изводится! Да какая ему на балконе жизнь? Ему по двору гулять надо, кур топтать. А тут.. ни подраться, куриц опять же нету. Разве это жизнь? Извелся весь, глядеть на петуха больно.

— Ну вас, дедушка, — смутилась Шура, обходя старика.

— Ишь ты, фи-и-и-фа... — укоризненно сказал он в след. — Застеснялась. А чего стесняться-то? Животная — она и есть животная...

Невдалеке гудел башенный кран. Там строился еще один дом. Шура села на штабель свежих сосновых досок, обняла руками колени, стала смотреть, как ползет вверх серая панель, подвешенная за крюк. Доски нагрелись за день, были теплы, струили сладковатый запах соснового бора. Сидела, вдыхала запах леса, слушала гуденье крана в высоте и негромкие голоса рабочих на этажах. Потом стала наблюдать, как ползали по доскам рыжие лесные муравьи. Тыкались туда-сюда и не знали, куда податься.

— Не меня ждешь? — услышала вдруг.

Шура подняла голову. Перед нею стоял парень с блеклыми глазами, в рабочей замасленной куртке. Он курил тонкую папиросу и смотрел на Шурку заинтересованно.

— Нужен ты мне...

— А чего тогда здесь сидишь?

— Просто. Если нельзя — уйду, пожалуйста! — она поднялась с досок и хотела уйти, но парень загородил ей дорогу. Шура могла бы его обойти, могла бы сказать пару ласковых, но почему-то не обошла и не сказала. Опустив глаза на пыльные кустики полыни, чего-то ждала.

— Как тебя звать?

— Не имеет значения.

— Ух, какая! А может, я интересуюсь!

— Эй, Володька! — кричали рабочие с этажей. — Кончай свататься, раствор подавай! — Они стояли на крыше, выглядывали из оконных проемов, толстенные в своих брезентовых робах.

— Иду! — отозвался парень, не глядя на них.

Рабочие его больше не торопили, им, видать, хотелось посмотреть, как сватается Володька, и этим разнообразить трудовой день. Они закуривали и отпускали шуточки.

— Ты не уходи, — сказал парень. — Скоро у меня смена кончается. Погуляем. А? — Он смотрел на нее просительно и жалобно.

— Не обязательно! — ответила Шура и пошла. Ей не хотелось, чтобы ее вот так разглядывали со всех сторон.

— Слушай, ты придешь еще? — Володька мучался от того, что всю эту сцену ребята видели и теперь будут потешаться над его неудачливостью.

Шура обернулась и пожала плечами. Парень был невысокий, серый какой-то, потертый. А ей нравились ребята высокие и черные. Она глядела на Володю. Он стоял упрямо, нахохлившийся, уже немного злой. А глаза сиротливые, необласканные. И Шуре вдруг его жаль стало. Она слегка улыбнулась, мимолетно, но обнадеживающе, и быстро пошла, почти побежала.

Через неделю она пришла сюда снова. Штабеля досок уже не было. На черной, еще не оправившейся от тяжести земле тянулись запоздалые, бледные стебли трав. Долго они пробивались в темноте между досками и теперь, почувствовав простор, пытались нагнать ростом высокую траву. Зато на разровненной площадке перед новым домом светлели деревянные грибки для завращанных жильцов-ребятишек.

Шура села на скамеечку под грибком, опустив ладо-

ни на шелковистую поверхность древесных волокон, отполированных рубанком. Маляры еще не успели ничего выкрасить, и грибок пах лесом. Закрыв глаза, девушка ощутила лицом слабое уже тепло низкого солнца. Было светло и спокойно.

— Приветик!

Перед ней стоял Володя, часто затягиваясь папироской, и смотрел на нее с откровенной радостью. Шура удивилась, что и сейчас он появился неожиданно — она не слышала шагов. — А ты молодец! Пришла ведь... — Володя сел рядом с ней. — Я тебя сразу сверху увидел. Даже гудел тебе. Не слышала?

— Нет.

— Как тебя звать?

— Шура.

— А меня Володькой. — Он улыбнулся ей. — Торопись куда?

— Да нет, — ответила Шура равнодушным голосом, ковыряя носком туфельки землю.

— Знаешь, ты подожди, а я переоденусь. Вон наш вагончик. А? Только не уходи. Ладно?

Шура промолчала. Это Володю обнадежило, и он побежал к зеленовешему неподалеку вагончику, возле которого собирались рабочие — был конец смены. Шура смотрела влед парню и думала: уйти или остаться?

Прибежал Володя быстро — она так и не успела решить. На нем был поношенный черный костюм с гнутыми локтями. Ворот белой рубахи казался широковатым для его шеи. Видно, у ребят перехватил. Шура поняла это сразу, окинув его быстрым, по-женски внимательным к мелочам взглядом.

— Ну, — сказал он, отдышавшись, — куда двинем?

— Мне все равно.

— Тогда в кино.

Тихий полумрак опускался на город, воздух будто

густел. Медные отблески в окнах домов погасли, и окна стали черными. Откуда-то неслась музыка.

— Ты где работаешь? — спросил Володя и взял Шуру под руку.

— На трамвае. Кондуктором.

— Да? — почему-то удивился Володя и даже руку ее выпустил на мгновение, но сразу поймал локоть и взял увереннее.

— Не похоже разве? — усмехнулась Шура.

— Не знаю, — замылся Володя. — И давно?

— Недавно. Я ведь из деревни приехала. Лебяжиху не слышал?

— Не-е... Что, плохо там, в Лебяжихе?

— Хорошо.

— А почему приехала?

— Работы нет. Дояркой неохота, а больше некуда. И вообще, там не так, как здесь. Клуб третий год строят и построить не могут. А вы — вон как быстро.

— У нас — темпы, — солидно сказал Володя. — Хорошо платят, мы и вкалываем как надо. Да и кадры у вас там не те. Один к нам устроился из сельских, так поверишь, под краном боялся встать. Ему кричат: «Цепляй панель», — а он как привязанный.

— Да ну тебя! — Шура выдернула руку.

Возле кинотеатра толпился народ. Еще к кассе не успели подойти, как уже спрашивали, нет ли лишнего билета.

— Тут глухо, — сказал Володя, прислонясь спиной к афише. На улице вспыхнули фонари, и вечерний мрак стал отчетливее. Мимо шли люди, задевали Шуру, извинялись, спешили, потому что уже был звонок. Володя морщил лоб.

— Знаешь что? — сказал он вдруг. — Пошли в ресторан.

— Да ну... Неудобно...

— Ты что, ни разу там не была?

— Нет...

— Ну, тогда надо сходить. Привыкай! — покровительственно положил руку ей на плечо. И, не дожидаясь согласия, потащил через дорогу.

Перед стеклянкой дверью толпились ребята в вечерних костюмах, поглядывали тоскливо сквозь толстое стекло. Там, будто в аквариуме, плавал раззолоченный швейцар, неприступный и важный. Володя постучал ему. Швейцар нехотя подошел, приоткрыл дверь.

— Мне только телерамму передать товарищу, — Володя торопливо шарил в кармане пиджака.

— Пройдите, — разрешил тот, впуская. — Ну, где телеграмма?

Володя повернулся спиной к прозрачной двери, протянул швейцару смятую трешку. Тот неуловимо сунул деньги в нагрудный карман ливреи, поплыл в зал, попросил Володю подождать.

Вернулся он быстро, шепнул:

— Второй столик в первом ряду.

— Со мной девушка, — умоляюще улыбнулся Володя.

— Давай побыстрее! — проворчал тот, приоткрывая дверь и сдерживая плечом напиравших ребят.

Володя схватил за рукав загрузившую уже Шуру, потащил за собой. Она еле успевала за ним. В ресторане было душно, над столиками плавали слои синего дыма, пахло столовой и потом.

Пока они шли, Шуру разглядывали десятки мужских глаз, и ей было неприятно. Села за столик, положила руки на колени, несмело огляделась. За соседним столиком сидела пара: завитая худенькая девушка и широколицый парень с твердым, спортивным подбородком. Он изучал меню, изредка спрашивая ее: «Будешь?»

Она согласно кивала головой, глядя на него несме-

ло. Подбежала официантка, раскрыла блокнотик, замерла выжидающе.

— Два сыра, — подмигнул ей парень. — Два бифштекса...

— Ну, ну! — торопила официантка, нетерпеливо оглядываясь на соседние столики. — Пить что будете?

— Двести столичной.. Вишневый ликер ничего?

— Очень хороший, девушкам нравится...

— Я пойду, — вдруг встала Шура.

— Куда? — растерялся Володя.

— Домой. Мне надо...

Он догнал ее на улице. Грубовато взял под руку, пошел молча, ни о чем не спрашивая. Так и довел до самого дома. У калитки они остановились и тоже молчали.

— Знаешь, — сказал он хрипло, — за день накачает тебя на верхотуре, голова как не своя, руки как у алкаша... — Он потряс кистями и вздохнул, явно взывая к ее женской жалости.

— Мне там не понравилось...

— А мне с тобой так посидеть хотелось...

Шура поглядела на холодные, темные окна комнаты. Галка опять, видно, продружит до утра. А она, Шура, гораздо симпатичнее подруги, моложе, будет скучать, чутко ловить за окном звуки чужой жизни да вздыхать. Галка утром придет томно-усталая, загадочная, принесет с собой чужой запах. «Ты не скучала?» — спросит сочувственно и чуть виновато, но столько взрослого женского превосходства будет в ее каждой интонации, в каждом движении.

— Хоть бы погреться пригласила, — сказал Володя, прильнув губами к ее щеке, и Шура не отстранилась...

— Старенький уже трамвай. — Шура сочувственно погладила мятую, обожженную сваркой во многих местах облицовку. — Дребезжит, скрипит, а едет. Думаешь, вот-вот рассыплется на скорости, а он ничего, дюжит. Надо же, крепкий какой!

— Куда крепче, чем вон те. — Галка обернулась к поблескивающим свежим лаком иностранцам, возле которых суетились слесари. — Не успели на линию выйти, и на тебе, поломались. С нашими их не сравнить. У наших только одни двери ломаются.

— Подкрасить бы сварку-то. — озаботилась Шура. — А то неудобно на обшарпанном ездить по городу, — и потеряла варежками уши. Она их чуть не обморозила, пока бежала в депо.

— Дуреха, — снисходительно и жалеючи усмехнулась Галка. — Без ушей останешься, кто полюбит?

— А-а, обойдусь! — Шура беззаботно махнула рукой и подошла к водительскому зеркалу. Повернула его на себя, почистила варежкой, заглянула любопытно в светлый подрагивающий квадрат. На нее заинтересованно и оценивающе смотрела миловидная девушка. Резкий контраст света и теней скрывал легкий румянец щек. Неосвещенные глаза были глубоки, темны и таинственны. Рыжая лисья шапочка ореолом светилась вокруг головы. Может, при ярком свете все бы выглядело проще, обыденнее, но сумерки были за Шуру. Они придавали особую прелесть и загадочность ее изображению.

У Шуры было редкое качество: ей шло все, что бы она ни надела. Вчера голову укутывала простая шаль — и ничего, не хуже других. А теперь, когда вместо шали праздничная шапочка, — вообще сплошной блеск! Шура берегла шапочку и надевала лишь в кино.

Еще бы: с таким трудом достала через Галку. На покупку пришлось занять денег у тети Фроси, зато огненно-рыжая шапка была хороша на диво. Жаль только, что сейчас на Шуриных ногах валенки. Шапке недостает сапожек с длинными лакированными голенищами. Тех самых, что красуются на витрине обувного магазина. Только тут одним авансом не обойдешься!

Шура взвизгнула: сзади ее облапал набежавший невесть откуда губастый Толька, слесарь. Несуразно длинный, улыбчивый, он лез к ней со слюнявыми губами, поровил поцеловать, дурачился. Шура вырывалась, хрипло смеясь.

— Кончай заигрывать! — сказала Галка деловито. — График подходит.

Толька отпустил Шуру, огляделся, придурковато ухмыляясь:

— Уй ты, какая красивая!

— Чо попало... — смутилась Шура и покраснела, негодуя на Тольку за то, что помял старательно причесанную шапочку.

— Слышь, Шура, ты куда так? — приставал Толька, не отводя от нее своих шалавых щенячьих глаз.

— Ладно, гуляй! — бросила сердито Галка. — Много вас таких!

И поднявшись на ступеньку вагона, откатила дверь своей кабины.

— Вот только голос тебе не личит, — пожалел Толька. — Слышь, почему у тебя такой голос?

— Поори-ка с мое, совсем никакого не будет! — хмуро ответила Шура и поднялась в вагон. Маленького праздника как не бывало. В самое больное место угодил шалопут.

— Шурчик, — Галка высунулась из кабины, — когда он зайдет, ты дай тройной звонок. Я погляжу, — подмигнула лукаво.

Шура улыбнулась ей вымученно и стала шарить над головной кнопкой сигнала.

Вздрыгнул трамвай, рывком взял с места. Выкатил из освещенного сильными лампами ремонтного цеха в синюю темень двора. Из двора — на улицу. И покатил, покатил, звеня, дребезжа, поскрипывая, подминая и плюща искрящимися колесами почную поземку на рельсах.

Побежал, набирая ход, будоража кварталы своим многоголосым шумом, вспугивая утреннюю темноту неярким желтым светом. Мчал, глотая на остановках зевающих, скучных пассажиров, которые с открытыми глазами досматривали свои сны на холодных сиденьях.

«Он, наверное, спит еще» — думала Шура, привалившись боком к тряской стене вагона. Вспоминала его лицо, молодое и доброе. «С ним, наверно, очень спокойно и прочно», — думала Шура и гадала: как его звать?

Глядя на колючее, льдистое окно, представила себе, как слепо шарят по стенам его комнаты отблески фар ранних машин, как желтые тени касаются его смуглой щеки и, не добудившись, гаснут в синих сумерках.

Утренний сон ненасытно сладок. Это Шура по себе знает. Когда будильник начинает захлебываться, она просыпается сразу, будто от удара током. Но душа ее негодует, противится этой резкой ломке. И хотя Галка вскакивает моментом, включая режущий свет, Шура еще несколько минут лежит с закрытыми глазами, радуясь ласковости постели, растягивая убажывающие минуты тепла и покоя.

Ах, какие это чудные, ненасытные, тягучие, как мед, минуты. Много бы дневных часов отдала за них Шура. не пожалела бы, чтобы понежиться чуть-чуть дольше, прежде чем вынырнуть из-под нагретого ею одеяла в остывшую за ночь комнату, зябнуть, одевая холодное платье. Пол такой ледяной, ноги сразу гусиной кожей

покрываются. Приходится прыгать с ноги на ногу, чтобы разогнать дрожь.

А как вспомнит, что скоро бежать темной улицей по скрипучей аллее в депо, еще холоднее делается. А может быть, те минуты тепла и покоя так дороги потому, что скоротечны? И если бы их можно было растягивать до бесконечности, то скоро приелось бы это блаженство?

Больше всего Шура сейчас боялась, что студент изменит своей обычной аккуратности, запоздает или придет раньше и попадет либо в другой трамвай, либо в другой вагон. И тогда не увидит рыжей, как зимнее солнце, Шуриной шапки, не увидит ее зеленых, как лесной крыжовник, таких ожидающих глаз. Это будет так несправедливо к ней, терпеливо мерзнувшей без теплого платка и варежек!

Но скоро не стало времени мечтать. Начался час «пик». Пассажиры с боем брали двери, только что приваренные в цехе, и Шура боялась, как бы их снова не оторвали. Тогда она совсем замерзнет.

Некоторые особенно людные остановки трамвай затравленно проскакивал с ходу. За ним бежали и махали руками люди и скоро отставали, немо разевая рты в недобром слове. Шура на этот раз не ругалась с пассажирами, висящими на подножках. Она знала, что они выказывают протест, не торопясь передавать деньги, и вела с ними переговоры добрым домашним голосом, старательно следя за интонацией. Нарочито говорила тише, чтобы голос не звучал надтреснуто и хриловато.

Как Шура ненавидела теперь свой голос, простуженный в зимнем трамвае! Полгода назад, когда она впервые ехала на кондукторском месте, у нее был чистый и звонкий голос, а через месяц уже кричала грубовато и безразлично: «Двое вошли с передней площадки, передавайте на билеты, не стесняйтесь!» Каждую живинку в

голосе глушила, чтобы самой не робеть и не привлекать взглядов.

Пассажиры покорно молчали или добродушно по-сменвались. Все они, опытные трамвайные невольники, давно поняли и мирились с тем, что кондуктору можно и прикрикнуть на них и поворчать: служба такая. Попадались среди пассажиров и люди ученые, знающие тонкости далеких Шуре наук. Здесь же куда девалась вся их ученость! Сдавят со всех сторон — не пикнешь. А начнешь роптать, получишь от соседей старое, как трамвай: «Вам тесно — на такси езжайте!» Да еще кондуктор добавит: «Середина, пройдите вперед! Что вас, каждого за руку вести?» Пассажир, натерпевшийся на остановке, становился податливым, едва понадал в трамвайное нутро: безропотно протискивался вперед, строился «елочкой». Кондукторские окрики ему не в тягость. Лишь бы доехать!

Шуре нравилась прямолинейная демократичность трамвая. Заходи кто хочет, становись где удастся или куда вынесут дружные плечи твоих собратьев. Трамвай не «Волга». Ему плевать, какая на тебе шапка: поблескивающая дорогой остью или копеечная цигейка.

Автобус — тот иногда, глядишь, да и промелькнет пустой, не уходящая стоящих на остановке скрипом тормозов.

Укоризненно глядят ему вслед, но что поделаешь: «Заказной» или «Служебный». Не про всякого заказан, не каждому служит.

А трамвай не бывает ни заказным, ни служебным. Он для всех, и никто не своротит его с этого пути. Шуре нравилось глядеть, как униженно приседали женственные «Волги» и пузатые автобусы, в том числе «служебные», когда ее трамвай по-хозяйски неторопливо переползал бойкий перекресток. Предупреждающе Галка позванивала ущемленным шоферам: не суйтесь, это мое



право — первым пересекать дорогу! Только одному мне можно подавать голос, трезвонить, как общий городской будильник. Мчи, трамвай, по городу, позванивай что есть мочи!

5

Студент появился как-то вдруг. Шура укололась о его синие глаза, но взгляда не отвела. Студент по-своему истолковал внимание кондуктора. Пошарив в кармане короткого пальто, подал монету. Сунул в перчатку протянутый билет и стал протискиваться к окну.

— Товарищи, давайте продвинемся! — ласково сказала Шура, и сама пошла, чтобы освободить студенту место возле обогревателя. Вон как замерз: ресницы и шапка в изморози, на щеках бурые пятна. Морозом прихватило, оттирать надо. Пусть погрееется возле черного дырчатого ящика со спиралью внутри. Он такой нежный, а ей уж ладно.

Его монетку Шура зажала в руке, отдавая ей свое скудное тепло. Ей казалось, что от этого и студенту хоть чуточку теплее станет. «Неужели не узнал?» — и Шура еще раз, смело, ясно посмотрела в глаза парню. Посмотрела дольше приличного, угнетая стыд.

Студент обескураженно поморгал ресницами: дескать, билет имею. Потом что-то в нем дрогнуло, он словно узнал, вежливо улыбнулся и отвернулся к окну. Так и не заметил скрытую ласку в потемневших от стужи глазах кондуктора.

Сникла Шура, ее лицо сразу побелело обескровлено. Хотелось тоже забиться в угол и ничего не видеть. Но кругом были люди, и надо было продавать билеты, объявлять остановки.

От обогревателя студента оттеснили, и там старушка, закутанная в серую шаль, грела руки, ругала мороз. Против старушки взяла злость, да ничего не поделаешь.

Шура молчала, боялась раздражением проявить хриплость голоса и только добела прикусила губу.

А трамвай бежал, позванивал, поскрипывал, покачивал пассажиров, и Шура отошла сердцем, объявляла остановки, потому что в замерзших окнах ничего не видно: ни домов, ни улиц.

Монетку студента она спрятала под шубу, в карманчик кофты, в тепло. Она изредка посматривала на него, но видела только стриженный затылок, да большую пушистую шапку, да розовые мочки ушей.

«Что для него трамвай? — думала Шура. — Вот выскочит из вагона и побежит по скользкой дорожке к большому, теплomu зданию с тяжелыми дверями и будет сидеть на лекциях, умненький и спокойненький. Тепло ему будет, чисто. Ни тряски, выматывающей душу, ни нервотрешки, и думы в его красивой голове будут тоже красивые и научные».

И вдруг ей стало мечтаться, что она, Шура, строгая и красивая, сидит со студентом за одним столом и тоже слушает пожилого, солидного дядечку — преподавателя. Круглым, ровным почерком записывает она в тетрадку умные слова, и светло в голове от такого соседства и от всего прекрасного, что она тут видит и слышит.

И тут же мысленно спохватилась, смутилась от нарисованной воображением картины. Нет, видно, не сидеть ей в одной аудитории с этим милым парнем, которого она даже не знает, как звать. С восьмидеткой в институты не принимают. Сколько уговаривал отец: «Учись, Шурка, кто тебя на работу гонит! Слава богу, живы, здоровы, поддержим». Она усмехалась весело, словно зная что-то, чего не знал отец: «Коровам моя грамота больно-то нужна! И без образования молока дадут». А жизнь-то оказалась хитрее Шурки!

— Кондуктор! — голос не насмешливый, скорее сочувствующий. — Я уж третий раз прошу оторвать би-

лет, — говорит ей пожилой мужчина, потирая бурые щеки.

— Ой! — спохватывается Шура, разматывая катушку замерзшими пальцами, потому что, стесняясь студента, давно стянула с рук обрезанные варежки.

— Замечталась девка! — распустила морщины отогревшаяся старушка возле кондукторского места.

Когда студент вышел и, смешно выкидывая длинные ноги, побежал к подъезду института, Шура вспомнила: так и не дала Галке тройной звонок — забыла. Но не пожалела об этом. Что тут смотреть? Нечего смотреть... И вынула из-за пазухи свои варежки.

А вечером в полупустом, а потому особенно холодном и тряском вагоне Шура достала монетку и благоговейно разглядела ее. Это был обычный тройничок, потемневший от времени и многих рук. Шура нежно подышала на монетку, потерла о валенок, и тройничок засветлел благодарно.

Она склонилась лбом к стеклу, глядя в темную полынью окна.

Мимо проносились огни ателье и магазинов, бросая зеленые и оранжевые блики на сугробы. По скрипучим тротуарам шли люди. Над ними по-лебединому гнулись серебряные столбы с пронзительными лампами, вокруг которых стыли голубые ореолы.

Эти огни снились Шуре в Лебяжике, как снятся сейчас ее сестре. Представляла: идешь вечерней улицей, чокаешь каблуками. Хочешь — в кино, хочешь — просто гуляй по аллейке, ловя на себе заинтересованные взгляды городских симпатичных ребят.

Ночью, когда родные засыпали, Шура садилась к окну. Лед на стекле искрился, радушно переливался, и ей грезилось, как идет она, Шура, по звонкому асфальту со своим мужем — высоким, чернявым, очень обходительным городским человеком. Он наклоняется к ней,

шепчет хорошие слова, и Шуре хочется, чтобы лебяжикские девчата увидели ее и позавидовали.

Эх, город, город... Каким беззаботным, сотканным из одних радостей виделся! Как дразнили и манили твои таинственные огни. А теперь они, поблескивая, посвечивая, подмигивая, бежали мимо тебя, мимо трамвая.

6

— И когда этот мороз кончится... — вздыхала Галка. Она лежала на кровати одетая, не мигая глядела в потолок.

— Обещали оттепель, — откликнулась Шура от печки, поворачивая к подруге разгоряченное лицо. Она не знала, будет оттепель или еще постоит морозы. Просто ей хотелось немного утешить подругу, которая была сильно не в духе.

Купленные в ларьке мороженые пельмени быстро оттаяли в кипятке, набухли и дали крепкий запах. Шура отодвинула крышку кастрюли, помешивала ложкой, чтобы пельмени, всплыв на поверхность, не выплеснули бы на плиту наваристый бульон.

— Вставай, сейчас есть будем, — позвала она, ставляя на столе тарелки. — Ешь, пока рот свеж, завянет — есть перестанет, — вспомнила матерно.

— Слышь, Шурчик, — шевельнулась Галка. — Сбегай за красненькой. Внутри что-то такое... скребет.

— А может, не надо? Может, с этого еще хуже будет?

— Мне хуже уже не будет, — вздохнула Галка и встала, поправляя рассыпавшиеся жидкие волосы.

Шура озабоченно поглядела на подругу и тоже вздохнула. Она чувствовала: не вяжется у подруги личная жизнь. Опять ухажер тянет со свадьбой, может, совсем

раздумал жениться. А ведь она только из-за того с ним и крутила.

— У меня тоже неважно, — горько прищурилась Шура и вынула из кармана кофточки ясный тройничок. Подержала на ладони, словно взвешивала, снова опустила в карман. Ей хотелось, чтобы Галка немного отмякла душой, видя, что и ей тоже не везет.

— Ты что, дуреха, неужто и правда влюбилась? — усмехнулась Галка, присаживаясь к столу и подвигая к себе дымящуюся тарелку.

— А что, разве не такая? — дурашливо засмеялась Шура. — Рожей не вышла, а?

— Рожей ты вышла, ничего не скажешь... Будь я мужиком, влюбилась бы. Да ведь твой студент институт кончит, каким-нибудь серьезным дядечкой будет. Неужто ты ему пара, необразованная-то? Ему с тобой не об чем и поговорить будет.

— Да? — быстро спросила Шура, и улыбка стаяла с лица.

— А ты думала... Знаешь, какая ему нужна? — Галка встала, манерно подняла брови и жеманно прошлась по комнате. Туфли ставила на широкие рыжие половицы осторожно, будто на хрупкий ледок. — Вот так. А на тебя и не посмотрит. Кто ты такая? Трамвайщица. Ему один черт, автомат в вагоне или ты. Получил билет и к окну. В окно-то веселее глядеть. Дорога короче кажется.

— А вот и неправда, неправда! — запальчиво крикнула Шура и отложила ложку.

В окошко несмело постучали.

Галка вскочила, отодвинула занавеску, со скрипом отворила форточку. Сизый пар тотчас пополз по ее волосам.

— К тебе... — сказала Галка, оборачиваясь усмешливо.

— Кто? — почему-то екнуло сердце и заторопилось, зачастило.

— Володька. Просит, чтобы вышла. Поговорить хочет.

— Катись он подальше...

— Так и сказать ему?

— Так и скажи...

Галка прикрыла форточку, аккуратно расправила занавеску, села за стол, ежась от холода:

— Думала — студент? А что, прикорми его, как это-то, белоглазого. Улыбнись, он и клюнет.

— Что ты! — вспыхнула Шура и рукой отмахнулась испуганно. Сама мысль показалась нелепой, обидной, противоестественной. — Он не пойдет, он не такой!

— Знаем мы этих чистеньких! — злобно промышчала Галка, обжигаясь пельменем. — Только мигни, побежит!

Пельмени оказались не такими вкусными, как ожидала Шура, будто весь вкус вышел паром, расплзся по углам, бесцельно растратился. Она поднялась, потерянно прошлась по комнате и легла на кровать лицом к стене. Там, на дешевом матерчатом коврикe, шевелилось от ее дыхания привязанное за ниточку развесистое перо из хвоста работающего петуха. Не смог он сманить Ивана в деревню, и из петуха сварили суп. А перышко ей подарил карапузик в красной рубашке. Переливается перышко золотишком.

Галка тоже поднялась из-за стола, прошлась по скрипучим половицам, взяла с окна зеркало. Она долго рассматривала свое отражение и хмурилась. Подавила двумя пальцами прыщик на подбородке, пожевала губами, замечая с горечью ранние морщинки у губ.

— Старее я, Шурчик... Скоро двадцать пять, а жизни еще и не видела. Подумать только: двадцать пять... Кремю, что ли, купить? — пробормотала озабоченно. — Кожа какая-то желтая... Эх, Шурка, Шурка, жила бы в

своей деревне, доила коров, парное молоко пила. С него лицо розовое делается, свежее. Сравни городских девчат с деревенскими. У городских девчат лица усталые, цвет опять же не тот. Приглядишься как-нибудь на улице.

Шура повернулась к Галке, слушала и жалела ее, жалела себя. Мелькнул в памяти белый материн платок.

Королевич приласкает голову твою-ю...

Защемило сердце. Вот придет весна, скворцы прилетят в Лебяжиху и будут жить в скворечнике на старой березе в огороде. Как она радовалась прилету этих птиц, блестящих, словно помазанных коровьим маслом!

Отец как-то собирался срубить старую березу — затеняла помидоры. Шагнул с топором, сочно врубил лезвие и вдруг отступил. Над деревом тревожно кричали скворцы. «Как это я забыл про вас, скворчики», — и топор отбросил, негодуя на себя.

— Поговори со мной, — попросила Галка, глядя в окно, на проступающие сквозь лед огни высоких домов. — Тебе еще рано вздыхать. Улыбаешься? Эх, Шурка, Шурка... Ты не скоро постареешь. Улыбка у тебя наивная. Научи...

— Ложись-ка спать! Завтра вставать рано.

— Не усну я. Всякая чепуха в голову лезет.

— А ты ложись и думай о чем-нибудь хорошем, легче будет. Попробуй, на себе испытала.

Шура улыбалась и думала, что завтра она, наверное, снова увидит своего студента, а ради этого она согласна вскакивать чуть свет и бежать по морозу. И вообще завтра может случиться что-то светлое и долгожданное.

Лежала и думала, и слушала злорадно, как похрустывают за окном неуверенные шаги.

## ОДИН НА ОДИН



**В**ельнике, у Лисьей Пади, замерзал егерь Иван Сергеевич Корчной.

Он лежал на примятом снегу, розоватом от уходящего солнца. Ноги его были придавлены темно-рыжей тушей медведя, еще растапливающей внутренним теплом своим облетающий с веток снег.

Понемногу к Ивану Сергеевичу возвращалось сознание. Дрогнули ресницы на потемневшем от боли и стужи бровастом лице. Глаза его, черные, не пронзительные, как в молодости, а потускневшие, долго и непонимающе глядели на линялое небо.

Было ему далеко за пятьдесят. Боль в эти годы невыносимей, чем в молодости, и тело устает сопротивляться повреждениям.

Он понимал опытным умом: зверь придавил его крепко. Если и удастся освободиться от многопудовой туши, все равно уж не ходок.

Иван Сергеевич косил глаза к подножью кедра. Лыжи, прислоненные к стволу, были хорошо освещены, каждое волоконец золотисто высветлилось, и ворсинки обивки металлически поблескивали.

Егерь вздохнул и отвел глаза. «Стойте теперь. Хозяину вы без надобности. Найдет кто — добром помянет», — подумал Корчной про лыжи, и нехорошая зависть шевельнулась к их будущему владельцу.

Лыжи эти он сам делал. К ним старый охотник

особое желание приложил. Долго и истоиво подбирал дерево. И все-то ему не по душе было. То древесина с сучком попадалась, на удар опасная, то линии слоев или цвет не вышли.

Однако нашел подходящее дерево. Оно показалось зрелым и надежным. Из него егерь и начал выстругивать лыжи. Вареным маслом их пропитывал после распарки. Сушил своим способом под утренним нежарким солнцем. А как формой и крепостью готовы стали, окамсил оленьей шкурой ворсом назад.

Летом начал делать лыжи и только глубокой осенью кончил. Подгадал как раз к первоснежью.

Зато лыжи вышли всем на любованье. Выгнутые по-лебединому плавно. На ногах почти не чувствуются, до того легки. Оленьи ворсины полые, трубчатые. Снег к ним не примерзает. Идешь в гору — шерсть топорщится, не дает лыжам назад скользнуть. А с горы гладко и ходко бегут, пружиня на неровностях. Было у них и особое качество, которое для охотника главнее всего, — неслышность скольжения.

Многие охотники из города, наезжавшие к егерю в субботу погонять лис и зайцев, зарились на лыжи. Деньги предлагали хорошие. Вечером соберутся, бывало, за столом у Корчного, выпьют и давай просить, продай да продай. Старались стакан егеря пополнее налить, авось под пьяную руку кого и осчастливит. И если не продаст, то даст поохотиться.

Сергеевич пил много, но ума не терял и только усмехался неприступно.

Был среди них Эдик, маленький, быстроглазый человек. Вспыльчивый и хвастливый. Работал он на какой-то базе, где, как он говорил, все можно достать.

Однажды Эдик, распалившись, выложил из кармана на стол все деньги, и даже мелочь вытряхнул вместе с табачными крошками.

— Не уйду, пока не уступишь, — сказал он с пьяным упрямством.

Егерь усмехнулся и разлил водку в стаканы.

— Не уламывай, я ведь не девка.

Эдик молча отстегнул дорогой охотничий нож в перламутровых ножнах и бросил на деньги.

Иван Сергеевич слегка побледнел, резко глянул на жену, застывшую возле стола со сковородкой в руках.

— Ну, вот что, парень, забери деньги назад. Не надрывай сердце. Ты молодой, у тебя много еще всякого добра будет. И ружья будут, и лыжи. А мне в них утешение на старость.

— Ладно, Эдик, — стали уговаривать охотники. — Кончай это дело. Давай лучше выпьем, — и совали ему в руки стакан. Боялись, что выйдет ссора.

Эдик слабо отталкивал стакан. Он понял, что перегнул, и теперь думал, как выйти из неловкого положения. В конце концов решил притвориться совсем пьяным. Выпил водку из своего стакана, сел, положив голову на стол.

— Слышь, Эдька, — сказал егерь. — Ну, а ежели я бы продал тебе лыжи, что бы ты с ними делал?

Эдик поднял голову.

— На стенку бы повесил, — сказал он, раскачиваясь на стуле. — Над кроватью. К ружью. Чтобы ансамбль был.

— Лыжи-то на стенку? — удивился егерь. — Дурость какая-то. Ты уж лучше шкуру повесь медвежью.

Эдик, соображая что-то, поглядел на охотников.

— А ведь идея, — крикнул Эдик. — Даешь шкуру?

— Какой ты быстрый... даешь... — покачал головой Корчной. — Шкура денег стоит...

— Сколько? — вскочил Эдик и полез рукой в карман, в котором денег не было, они лежали на столе.

— По стоимости. Тридцать рублей.

— Беру, — загорелись глаза у Эдика. Он поймал руку егеря и долго тряс ее.

— Будет суетиться, — отмахивался Корчной. — Раз сказал, значит договорились. Будет тебе шкура. Есть у меня на примете одна берлога.

Охотники не мигая уставились на егеря.

— Возьми меня, — попросил Эдик осторожно.

— Куда тебе, — оглядев тщедушную фигуру Эдика, засмеялся Корчной. — Еще заламает, отвечай потом. А не заламает, так промысел нарушишь. Я ведь не для забавы медвежатничая. За месяциком двух-трех возьму, вот и с деньгами...

— Нет, я серьезно, — наседали Эдик. — Возьми на медведя. Пусть цена та же. Мне хрен с ней, с ценой. Поглядеть охота, как все это.

— Отстань, не зуди, — хмурился егерь. Он не любил, когда его перебивали. — Ты для этого дела неподходящий. Мешать будешь...

— Не помешаю, Сергич, с фотоаппаратом пойду. Засниму, как ты все будешь делать. Тебе же память.

— Карточки сделаешь? — быстро спросил Корчной.

— Сделаю, — преданно заглядывал в глаза Эдик.

— Это другой оборот. Подумаю. Может, и возьму. Ты только того... лишнее белье захвати, — добродушно засмеялся егерь.

— За это дело надо выпить — загалдели охотники.

Эдик кинулся к рюкзаку, вытащил бутылку грабичного коньяку, поставил на стол.

— Где достал? — спросил Иван Сергеевич, рассматривая цветастую этикетку.

— Понимать надо, — подмигнул Эдик.

— Ну и пронырливый же черт, — завидовали ему.

Выпили. Зашумели. Заговорили. А что говорили, и не понять. Жена поманила Ивана Сергеевича на кухню. Он вышел из-за стола, покачиваясь.

— Ты бы продал лыжи-то, — зашептала она.

— Не лезь, мать, в эти дела, — оборвал муж, пытаясь уйти. Но она цепко ухватила за рукав:

— Об семье не думаешь, богач выискался. Неужто себе еще не сделаешь... Благо, деревьев полон лес...

— Нет, мать, — сказал тихо, со значеньем в голосе егерь. — Таких я больше не сделаю. Вот этим местом чую, — ткнул себя пальцем в грудь. — Я на них весь выложился... Как ты на Аленку...

И жена только вздохнула. Поглядела на мужа и вдруг поняла, что он и впрямь стар.

...Тихо кругом. На верхушку пихты села сорока. Пугливая птица, недоверчивая. Косит на лежащих в снегу человека и зверя блестящим быстрым глазом. Мостится на острие, готовая сорваться и улететь от малейшего движения вниз.

«Меня боится, — подумал тоскливо егерь, — а бояться уж нечего. Вот раньше — да. Не пожалел бы патрона для проверки верности глаза и рук. Большая сноровка нужна изловить сороку на мушку». Он хотел шевельнуться, чтобы сдвинуть птицу, да передумал. «Пусть хоть одно живое существо будет поблизости. Эдька-то удрал, сукин сын, — подумал незлобно. — Не заблудился бы только. А то со страху упорет в другую сторону, пропадет». И стал припоминать, как это получилось. Сначала все шло по продуманному много лет назад и проверенному годами порядку. Не доходя до берлоги, егерь сел отдохнуть. Запыхавшийся Эдька повалился в снег и тяжело дышал.

Иван Сергеевич усмешливо поглядел на него:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать, — выдохнул тот.

— А мне, почитай, шесть десятков скоро. А видишь, какой я крепкий. Супротив тебя. Почему? Потому что на приволье живу. Еда у меня природная, здо-

ровая. Вы, городские, чуть какая хворь, разные таблетки да капли принимаете. А вот я такие травы знаю, получше ваших лекарств на ноги ставят. Настои варю из маральего корня, из золотого корня. Чай пью бадановый. Он усталость снимает. Да чего там говорить... Меня с городским мужиком равнять нечего. Ты вон пяток километров прошел и язык набок, а мне хоть бы что... Я здоровше. Дух во мне лесной, крепкий...

Он говорил это не столько для Эдика, сколько для себя. Настранивался на охоту. Припомнил последнего медведя, взятого полмесяца назад. Тогда ловко вышло. Возни со зверем не было долгой. «Видать, я еще не такой старый», — убеждал себя Иван Сергеевич.

— Ну, ладно, — раздумчиво сказал егерь, поднимаясь со ствола поваленного дерева и отряхивая шубу от снега. — Пошли дальше, — кивнул Эдику. — Только не шуми, берлога близко. Готовь аппарат-то.

— Конечно, конечно, — засуетился Эдик, вытаскивая аппарат. Он открыл кожух и поглядел на помутневший объектив. Маленький, в высокой шапке без ушей, коротком пальто с шалевым воротником и в егерских валенках, он странно выглядел в лесной глуши. Глаза его напряженно бегали по сторонам, подолгу задерживаясь на корнях вывороченных деревьев.

Егерь пошел первым, осторожно передвигая лыжи. Лес становился гуще, и приходилось обходить буреломы.

— Теперь близко, — шепнул Корчной, оборотясь и приложив палец к губам.

Корчной остановился возле небольшого снежного возвышения на полянке. Из отдушницы возле черного задранного вверх корневища упавшей ели слабо курился пар. Огляделся. Эдик стоял шагах в тридцати возле дерева, держа в руках ружье. Фотоаппарат болтался на груди нераскрытым. «Как бы в меня не

стрельнул с перепугу», — мельком подумал Иван Сергеевич и тут же забыл про напарника.

Глубоко вздохнул, выпрямился на мгновение. И вдруг, взволнованный и решившись разом, опустил длинную палку в податливый рыхлый снег рядом с отдушиной.

Препятствия палка не встретила, и Иван Сергеевич, немного подержав ее на весу, сильно пустил в пустоту, чтобы она заостренным железным наконечником кольнула спящего медведя. Быстро отошел, сорвал с плеча ружье, прислушался. Под ногами глухо, как сквозь вату, заревел ужаленный зверь.

Много раз слышал егерь медвежий рев, а все не мог привыкнуть. Почувствовал, как зашевелились волосы под шапкой. Рев становился громче. Медведь, видно, пытался избавиться от причинившего зло предмета, но не мог и стал, разъярившись, выбираться наружу.

Медвежья голова показалась мгновенно, обвалив снежную крышу. Иван Сергеевич не ожидал, что зверь так скоро выскочит. И, отпрыгнув в сторону, споткнулся о таившийся в снегу крученный корень. Падая, услышал хруст и резкую боль ниже колена.

Он ругнулся отчаянно, понимая гибельность своего положения. Судорожно рванулся на колени, оттягивая на взвод забытые снегом курки и надеясь уже только на охотничье везение.

Медведь сначала не замечал человека. Шурил глаза, отвыкшие от дневной яркости. Принюхивался к морозному воздуху и потревоженно рычал, раскачивая лобастую голову. Грязно-бурая слежавшаяся шерсть на впалых боках свисала клоцьями. С желтых клыков тянулась слюна. Услышав щелчки, зверь напряжился. Шерсть на загривке поднялась.

Холод обжег сердце егеря. И когда зверь завис над ним, выстрелил тяжелым самодельным жаканом. При-

клад отдал в плечо. Выстрел прогремел глухо. Девья приняла звук мягкими ветвями и потушила его.

Медведь надрывисто ревел, царапая себе голову когтями. Охотник опытно понял: в пасть не попал, как целил, а повредил голову, и не опасно. Пуля вскользь прошла. И Иван Сергеевич ударил из другого ствола, после чего боль и тяжесть отняли сознание.

Все это егеря вспомнил неторопливо и равнодушно, думая о себе, как о постороннем человеке. Еще раньше в темном уголке души нет-нет, да и ворочалась мыслишка, что однажды подведет его судьба. Но в молодости не боялся сомнений. Уверенность и надежда на точный глаз, ловкие руки брали верх над сомнениями. Теперь же тело расслабло от прожитых годов, и предчувствие часто пугало охотника. Завалив медведя, облегченно вздыхал: «Не этот». Старался не думать, что однажды встретит и «своего» медведя. И вот встретил. Но страха почему-то нет. Наоборот, непонятное успокоение. Лежит Иван Сергеевич на снегу, перебирает прожитое, как вещи в старом сундуке перед дальней дорогой...

Вчера вечером уложив охотников спать на кухне, себе постелил в горнице, с расчетом на сына. Долго ворочался, ожидая, когда Егор вернется со смены. Но так и не дождался, заснул. Проснулся от прикосновения горячего плеча.

— Ты? — спросил отец.

Егор лег рядом. В темноте мигал красноватый огонек сигареты. Отец заворочался, закричал, показывая, что не спит. Но сын молча затягивался сигаретой, и тогда огонек слабо освещал его узкое, напряженно сосредоточенное лицо.

— Там на столе тебе оставили... в бутылке, — подал голос отец.

— Настроения нету.

— Что так, или на работу неладно?

— На работе нормально.

Отец глубоко вздохнул, повернул лицо к сыну:

— Дай-ка закурить... Сон не идет...

Егор, не вставая, нащупал у изголовья сигареты и спички. Нашел в темноте отцовскую руку, подал.

Тот долго чиркал спичками. Спички ломались, и отец вполголоса чертыхался. Наконец, прикурил, закашлялся.

— Батя... — негромко сказал Егор. — Ты завтра куда собираешься?

— Да так, с мужиками зайчишек погонять. Размяться надо. — небрежно сказал Иван Сергеевич. — А что?

— Да ничего. В патронташе у тебя одни жаканы. Заяц, видать, крупный пошел.

— Уж и патронташ вышарил, черт глазастый.

— Два патронташа-то. Напарника берешь?

— Эдька попросился. Тридцатку за шкуру дает и хочет посмотреть, как все это... Пускай прогуляется, бельничко-то подмоит. — рассмеялся отец.

— Опять, значит, за свое?

— Последний разок схожу, сынок...

— Сколько этих последних разков было?

Отец отвернулся и долго молчал, мерцая сигаретой. Вздыхал и курил, глядя в темный потолок.

— За тебя же опасаюсь. — сказал Егор. — годы у тебя... Рискованно.

— Эх, милый... — усмехнулся горько отец. — Рискованно... Ежели жить без риска, то и жизнь такая не нужна.

— Риск бывает, который оправданный, а который и нет.

— Научились вы рассуждать... Грамотные стали... Мы так не рассуждали... Тебе хорошо. Утром поднял-



ся — и к своему трактору. Занятие есть. А мне в кухне толочься или на печи сидеть?

— Ну зачем на печи... Можно найти занятие.

— Нету мне другого занятия, кроме леса.

Егор положил руку на плечо отца. Рука сына была горяча даже через рубаху. Отец хотел стряхнуть сыновнюю руку, но не стал: старость теплоту ценит.

— Ружьишко мое спрятал? — глухо спросил отец.

— Спрятал.

Отец уткнулся лицом в подушку.

— Для твоей же пользы, — Егор погладил жесткие отцовы волосы.

— Собачья жизнь, — всхлипнул отец.

— Тине, мать разбудишь.

— Эх, Егор, Егор, кого ты бережешь... Ружье спрятал, а я с ножом уйду. Потому как я охотник. Я в лесу себя человеком чувствую. Лесной я человек. Родился в лесу, вырос в лесу и помереть в лесу суждено. От судьбы не уберешься... Ладно... скажи, где ружьишко. В последний раз схожу. Прощусь с лесом-то, а то прихворну, и сходить не придется.

— Послезавтра вместе ходим. Я смену сдам, — сказал Егор.

— Ладно, — согласился отец. — А я пока берлогу разведваю. Не сомневайся, трогать не буду.

— На сеновале ружье. Только смотри...

— Не, Егорушка, не трону...

...Похолодало. Сорока давно улетела по своим надобностям, и окружающее поскучнело. Лежит Иван Сергеевич, вспоминает прошлые годы. Ругал он раньше свою жизнь по всякому поводу. И никудышной она казалась, и беспросветной. А начал по годам перебирать — не такой уж плохой оказалась. Были радости, да не умел их замечать.

Промышлять зверя начал с детства. В тайгу вмес-

те с братом Серегой ходил. Ружье одно на двоих было. По переменке охотились. Однажды лесничий захватил их в казенном владении. Братья с мужиком сладили. Винтовку отнял и, разрядили и отдали пустую, чтоб не выстрелил от злости. Как-то приходят домой из лесу, а там — лесник. Сидит за столом. Чай с отцом пьет. Молчат оба. Поглядел лесник на братьев мельком:

— А что, Сергей, твои это парни-то? — спросил ровным голосом.

— Мои, а чего?

— Да, паря, да... — только и ответил тот.

После отец позвал сыновей: «Что натворили?»

Рассказали все чистосердечно. Улыбнулся. «Справными мужиками растете».

Военал удачливо. Ни одна пуля не тронула. Сколько в разведку ходил, всегда с «языком» возвращался. Зверя умел выслеживать, а человека — проще. Полковник перед строем повесил ему солдатский орден на грудь.

— Откуда родом, Корчной?

— С Алтая, товарищ полковник!

Полковник еще чего-то спрашивал. Корчной отвечал как положено. Был он молодой, крепкий. Гимнастерка сидела ладно. Полковнику понравился бравый вид солдата. Он растрогался и поцеловал Корчного.

Аленка ходить учится. Совсем беспомощная, падает отцу в колени. Нутро его заливается радостью и нежностью.

Вот ведь какая ненасытная жизнь. Вволю пожил, а кончать жизнь не хочется...

Солнце уже склонялось вниз, отсветив без передышку положенное. Скоро мороз навалится, запеленает теплом, зыбким, обманчивым. Проторит памяти тропку в детство, высветлит глаза безмятежностью.

Небо над головой еще светлое. Бьются в ветвях живые нити солнца, плавленной медью поливая недавно выпавший снег.

Корчной потянул ноздрями и ощутил тонкий запах коры. Мальчишкой колупал листовничную серу и жевал ее, горьковатую и пахучую.

И вдруг ему захотелось потрогать рукой податливую мякоть коры, сколупнуть желтоватую живицу и ощутить ее горьковатый вкус.

Попробовал шевельнуться, ноги онемели от неподвижного лежания. «Нет, уж, видно, не попробовать мне серу», — тоскливо подумалось.

Он обвел глазами все видимое пространство и окружающее показалось торжественно-красивым. Все привычное, до боли знакомое с детства, было, оказывается, красивым. А ведь не замечал этого раньше. Шел в лес — сразу искал следы добычи. Увидев зверя, гнал, выискивая расстояние верного боя. Каждая клеточка мозга и тела жила предстоящей добычей. До красоты ли... Как-то жестоко высмеял городского интеллигентного мужчину, пропустившего выстрел. Заяц пробегал, крупный, сильный. И тот залюбовался, забыл про ружье. Корчной выстрелил вдогонку, не целясь. Принес за уши окровавленного зверя. Бросил к ногам неудачливого охотника.

— Барышня ты, а не мужик. Тебе цветочки нюхать, а не с ружьем ходить.

Теперь же егеря самого поразили сочность и мягкость красок, богатство оттенков, как не способен написать ни один художник.

— Рано я того... кончаю... — сказал он, прислушиваясь к голосу. Голос был слабый и хриплый. — А, Эдика-то, подлец, убежал, — ехидно скривил губы. — Уж медвежья шкура не нужна, свою бы унести целой. Взглянуть бы по следу, куда побег. Хоть и пустой че-

ловенишко, а жаль, если сгниет. Детишки у него. — Голос совсем чужой, будто и не его.

Поднял голову, глуша боль, увидел синие сугробы возле себя. Стал вглядываться в далекое дерево, чтобы увидеть Эдкину лыжню. Но там было сумрачно, и егерь опустил глаза. На привалившейся бурой медвежьей туше уже не таял снег. И вдруг ему мучительно захотелось не быть здесь. Дикая тоска по дому всколыхнула остывающую кровь. Дома сейчас, поди, лампа зажжена. Жена ожидающе глядит в окно. Аленка уроки не делает, ждет отца. Только Егор еще на смене. Не знает, что отец лежит с беспомощным телом, покорно глядя в холодеющее небо. Сжал зубы, приподнял спину на локтях. Боль спохватилась, опутала разум лишкой, горячей веленой. Но он терпел. Глядел на ступенчатое небо, на темные деревья и по ранней яркой звездности привычно определил: погода завтра будет хорошая.

И вдруг стало спокойнее. Подошел Егор, положил на плечо теплую руку.

— Что ж ты, батя, не подождал меня?

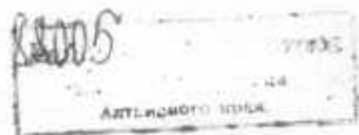
— Так уж вышло ты на меня зла не держи.

— Ладно, батя, ладно, чего уж там... — И стал гладить седую голову отца. Невесомо гладил, нежно. Будто мать в детстве, лицо которой Иван позабыл, помнит только прикосновение рук.

Просветлело в душе старого егеря.

— Ты, Егорушка, возьми мои лыжи... Таких ни у кого нет. Мне за них двустволку давали...

— Ладно, — отвечал Егор. — Возьму... — И все гладил голову отца, отчего у него морщины расправились и глаза высветлились безмятежностью.



## СОДЕРЖАНИЕ

По сходной цене. <i>Повесть</i> . . . . .	5
Тень стрекозы. <i>Рассказ</i> . . . . .	137
Красные лысы. <i>Рассказ</i> . . . . .	178
Волчья кровь. <i>Рассказ</i> . . . . .	209
Трамвайщица. <i>Рассказ</i> . . . . .	229
Одни на один. <i>Рассказ</i> . . . . .	259

---

*Гущин Евгений Геннадьевич*

### ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Повесть, рассказы

Редактор Л. Еринов  
Художник В. Еранкин  
Художественный редактор Б. Луначев  
Технический редактор М. Сафонова  
Корректоры Г. Ульяченко, Н. Тырышкина

ИБ № 300

ЛГ 00004. Сдано в набор 26. 10. 1978 г. Подписано к печати 11. 01. 1979 г. Формат 70x108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,9. Уч.-изд. л. 11,826. Тираж 30000 экз. Заказ № 2348.  
Цена 1 руб. 10 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.  
Производственное объединение «Полиграфист» управления издательства, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Титова, 3



Гр. 10 н.